

სრული რობაკიძე



ДЕМОН
И МИФ

ГРИГОЛ РОБАКИДZE



ДЕМОН
И МИФ

МАГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе

Издательство "ЦОТНЕ"

Тбилиси - 2001

894.631-4

ИДК 830-3

Р 581



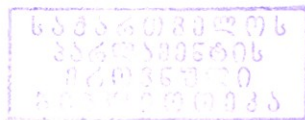
Сборник эссе “Демон и миф”, принадлежащий перу выдающегося грузинского писателя Григола Робакидзе и написанный на немецком языке, впервые вышел в свет в 1935 году в Германии в издательстве “Ойген Дидерих”, Йена. Эта публикация сделала имя Григола Робакидзе широко известным и на Западе.

Сборник охватывает по существу широкий спектр тем: феномены Сталина, египетской царицы Нефертити, Греты Гарбо, а также образ мыслей (чувство жизни) на Востоке и Западе и первородный страх человека. Все пять глав написаны Гр. Робакидзе со свойственной ему глубиной философского осмысления проблемы и магией слова.

Отдельные главы из “Демона и мифа” в разное время публиковались в переводе на русский в журналах “Литературная Грузия” (1990, 1992) и “Дружба народов”. Москва (2001).

Целиком книга “Демон и миф” на русском языке издается впервые.

894
767
T



ПРЕДИСЛОВИЕ

Можно рассматривать Землю как геологическую реальность. Однако можно воспринимать ее и как космическое явление. Ведь не случайно на протяжении тысячелетий многим посвященным она представлялась «душой космоса». Если и мы взглянем на Землю с учетом этого знания, то невозможно будет отделаться от чувства, что она тяжело страдает. Можно даже сказать – ее эфирному телу после мировой войны нанесен огромный ущерб. В восприятии Земли как таковой различаются два направления или течения. Первое видит в феномене Земли лишь «материю». Средствами использования этой «материи» являются радио и техника. Земля расколдовывается и обезбоживается. Все происходящее на ней объявляется «фактом» материального мира, не более. Вечное отрицается, индивидуальное подавляется – все сводится к анонимному, безлико-интернациональному. Эти силы – я рассказал о них в своей книге «Убиенная душа» – существуют повсюду, но в основном они сконцентрированы в Советском Союзе.

Второе направление воспринимает Землю не как вещественно-материальную субстанцию, а как MAGNA MATER – Великую Матерь. Вместо радио здесь доминирует интуиция, технике же отводится роль суррогата магии. Все явления рассматриваются в нерасторжимом космическом единстве и потому – под знаком мифа. Замкнутые в себе жизненные системы (раса, почва, род и др.) активизируются и, таким образом, утверждается многообразие мира. Предпринимается попытка развития земных сил с точки зрения нации. Эти силы действуют всюду, но главное их поле действия в настоящее время – Германия. Вы спросите: почему именно эта часть Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует проникнуться

духом немецкой мистики, немецкой музыки, немецкой живописи, немецкой поэзии, наконец, феноменом Гёте. (Гёте – это мир сам по себе). Здесь Земля принимает непосредственное участие в процессе материализации духовного начала. Для подкрепления сказанного приведем лишь один пример. Сравним Мадонну Рафаэля с Мадонной Дюрера. Если первая парит в эфире как совершенное небесное создание, то вторая в своей чувственной реальности как бы вырастает из Земли.

Указанные два направления являются магистралями современного мира. Все происходящее сегодня сверх того, второстепенно и третьестепенно. Предлагаемые читателю очерки возникли на основании и с учетом обоих полярных направлений. Очерки эти – ни в коей мере не рассуждения, основанные на чисто отвлеченных понятиях, ибо едва ли возможно с помощью каких бы то ни было понятий зафиксировать те тончайшие волны, что струятся в атмосфере. Чтобы проникнуться космической первозданностью, не прибегая к человеческому произволу, нужно сомнамбулически пройти сквозь предметы и явления, устремившись всей душой к истине. Мои очерки – суть отражения моего созерцательного, то есть поэтического подхода к предметам и явлениям. Это – впечатления, или, вернее, отпечатки, моментальные снимки моих видений. Есть ли в них доля вымысла? Пожалуй, да. Во всяком случае лишь в той степени, в какой это требует «воображение для восприятия реальной действительности» (Гёте).

Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что с помощью подобных очерков ничего нельзя доказать, тем более убедить кого-либо в чем-либо. Но, если хоть один духовный элемент этой серии картин пустит росток в сознании читателя, то не исключено, что предметы и явления предстанут в его душе в совершенно ином свете, и мысли его примут иное

направление, которое я, конечно, не могу предвосхитить. Я бы назвал это подлинным вдохновением на строгой и бесконечной ниве истины. На большее эта книга и не претендует.

Хотелось бы добавить еще следующее. Несмотря на то, что царицу Нефертити отделяют от нас тысячелетия, там, где Землю видят внутренним оком, она остается нашей современницей, и ее портрет может послужить нам ключом к разгадке тайн и других портретов. Портрет Сталина взят мной из моего романа «Убиенная душа». Он подвергся, однако, значительным изменениям, дополнен и расширен.

Автор

СТАЛИН КАК ДУХ АРИМАНА

Ленин дал Сталину необычное прозвище «чудесный грузин». Чудесного в Сталине хоть отбавляй, а вот грузинского – весьма и весьма немного. В Грузии необычность характера Сталина объясняют его происхождением: отец его, де, родом из Осетии. Не исключено, впрочем, что мы имеем здесь дело с другим феноменом. В недрах каждого народа рождается и чуждое ему, даже направленное против него начало. Это, по-видимому, чисто биологическая тайна. Может быть, эта способность нации порождать чуждое себе призвана преодолевать инонациональное? Сталин – грузин лишь в той мере, в какой он – его антипод.

«Окаменевшая голова доисторической ящерицы» – так назвал Сталина один из его бывших соратников, не подозревавший, возможно, что попал в точку. Узкий, слабо развитый лоб, выдающий человека решительных действий, особенно если он к тому же еще обладает неистощимым спинным мозгом. У Сталина и в мыслительном отношении сильный хребет: он обладает нюхом рептилии. В детстве перенес оспу, и едва заметные рубцы, оставшиеся после нее, подчеркивают доисторичность его головы – так же, впрочем, как и веснушки, придающие его лицу сходство с цесаркой. Под усами скрываются усмешка и ирония, как бы говорящие: «Я, конечно, догадываюсь о том, что ты хочешь скрыть от меня». Эта молчаливая констатация подчеркивается высоко поднятой левой бровью. (Примечательно, что у Ленина поднималась правая). Маленькие, колючие, непроницаемые глаза глядят неподвижно, как бы высматривая, подстерегая добычу. В нем



чувствуется холодная кровь существа, несущего бедствия другим, способного перехитрить кого бы то ни было. Под его взглядом никнет любая воля.

Сталин ходит медленно, по-кошачьи мягко, как будто хочет укрыться или внезапно напасть на кого-то. Тайное колдовство, делающее человека незримым – не досужий вымысел. В Тибете, например, оно – реальность. Тибетец (йог), не желающий привлекать к себе внимание, становится невидимым: сверхчеловеческим усилием воли он уходит в свою оболочку. Становится недоступным для постороннего глаза. Сталин обладал этим даром уже в те времена, когда царская охранка преследовала его за революционную деятельность. словно лунатик, бродил он по улицам: выслеживая и таясь. Когда же его настигали, пугался не лунатик, а преследователь, которому казалось, что перед ним не реальный человек, а призрак с маской вместо лица. У Сталина было много имен не только в целях конспирации. Для него, как и для Стендаля, это были подлинные имена. В имени есть что-то от личности – так думали древние египтяне. Сталин постоянно менял свое имя, ибо знал, так его будет трудно обнаружить и арестовать. Когда же это все-таки случалось, он ловко ускользал из любых рук. Он побывал во многих тюрьмах – в Тбилиси, Баку, Батуми, в Центральной России и Сибири – и постоянно совершал оттуда побеги. Его ссылали неоднократно, но он каждый раз убегал, появляясь в новом месте под новым именем, под новой личиной. Заметных следов не оставлял. И неожиданно всплывал где-то – безымянный путник, подобный Голему, который, согласно древнееврейскому преданию, каждые тридцать лет посещает Вселенную. При встрече с ним содрogaешься, но стоит прийти в себя – его уж и след простыл.

Сталин, словно змея, сбрасывал с себя кожу, оставаясь внутренне неприкасаемым. Однако он был вооружен и



другими средствами самозащиты: он обладал способностью презирать действительность. Однажды политических заключенных в бакинской тюрьме заставили пройти сквозь строй солдат, вооруженных шпицрутенами. И Сталин прошел сквозь строй, но как? В руках он держал брошюру – несомненно марксистскую. Он шел сквозь строй солдат, читая, как будто происходящее вокруг не имело к нему никакого отношения. Он поднял палачей на смех, защитив себя от морального ущерба. Уже тогда он обрел свое подлинное «я».

Как появился на свет и как рос этот аноним? Отец его, сапожник, был пьяницей, грубым и язвительным человеком. Мать являла собой во всех отношениях противоположность отцу. Отец во хмелю бил мать. Бил и своего единственного малолетнего сына. В хибарке, в которой обитала семья, царили нужда, свирепость и слезы. Уже при одной мысли о возвращении отца сына охватывала дрожь. В мире, в самом Творении он видел лишь безобразное, а родной отец представлялся ему чудовищем. Этот распад семейных уз роковым образом сказался на душе ребенка. На Востоке знают, какое место в семье занимает отец: он – семя оплодотворяющее, он – космическое начало. Если зародышевую клетку лягушки разделить на две половины, из них родятся две лягушки. Каждая из частей становится не пол-лягушкой, а целой, но по величине равной половине обычной. Биология здесь удивительным образом подтверждает приоритет отца, существующий на Востоке. Что же произошло с первоначальной зародышевой клеткой? Она не обрела плоть, физически ее уже нет, но метафизически она продолжает жить в обеих маленьких лягушках. Каждая из них содержит в себе нерожденного отца. В каждой живет родовая память об отце. Там, где эта память умирает, жизнь подвергается опасности.

В доме Сталина эта память была убита. Сын проклял отца, проклял семя, породившее его, возненавидел самое



Творение. Для него не существовало любви, ничто не радовало его. Жизнь его была отравлена неистребимой ненавистью к отцу. Ребенку, растущему практически без отца, всегда недостает самого существенного – радости жизни. Душа его не в состоянии раскрыться перед лицом мироздания. Она никогда не сможет стать воплощенной частицей мистически раздробленного Бога. Она холодна, тверда, сурова. Такой человек никогда не испытывает состояния экстаза. Услышь он Девятую симфонию Бетховена, особенно ее финал, где в бушующий, словно море, оркестр врываются голоса опьяненных Дионисом людей, голоса, которым открылась новая жизнь – человеческая или сверхчеловеческая – он не дрогнет, не вылезет из своей скорлупы, чтобы приобщиться к безбрежной действительности. Он останется холодным, твердым, суровым.

Не зная экстаза, он не выносит этого состояния у других. Оно не увлекает, более того, раздражает его.

Поясним сказанное следующим примером. Накануне революционных событий в Дрездене в 1849 году Рихард Вагнер дирижировал Девятой симфонией Бетховена. Как только отзвучали заключительные аккорды финала, тайный подстрекатель восстания анархист Михаил Бакунин подскочил к оркестру и крикнул Вагнеру в порыве восторга: «Если вся музыка сгорит в пламени мирового пожара, который непременно грядет, то мы, рискуя жизнью, спасем эту симфонию!» Бакунин был весь пламя. Другое дело Ленин. Известно его высказывание об «Аппассионате»: «Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!.. Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту.

А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку отбить надобно бить по головкам, бить безжалостно...»¹.

Ленин здесь проявляет определенную экзотичность. Сталин же не способен даже на такой полужесток. Характерная деталь: говорят, что Ленин после продолжительной болезни скончался от воспаления легких при температуре 42,3 градуса. В этом проявилось пламенное люциферовское начало Ленина в противоположность холодному аримановскому духу Сталина. Существо, подобное ему, с самого же начала мистически неполноценно, ущербно. Легенда о Каине и Авеле здесь весьма кстати: Бог принял дар Авеля и отверг дар Каина. Почему? Легенда не дает нам никакого объяснения. Может быть, дар Каина был принесен не от сердца? Возможно, он хотел, чтобы это было так, но дальше желания дело не пошло. Объяснением здесь может послужить, пожалуй, лишь предположение, что Каину изначально недоставало дара жизни. На это предположение наводят нас страницы Книги Бытия: Прими Яхве дар Каина, совершил бы он тогда братоубийство? Кому отказано в даре жизни, у того сердце закрыто для душевных порывов. Сосо Джугашвили, быть может, с горечью чувствовал это уже в юности, когда навещал, скажем, больного товарища. Он мог говорить с ним самым сердечным образом, однако слова его не трогали больного. Но вот приходил другой одноклассник, с любовью прикладывал руку ко лбу больного, и боль утихала.

Этой божественной силой является дар жизни. Вспомним слова Гретхен о Мефистофеле:

*Он мне непобедимо гадок.
В соседстве этого шута
Нейдет молитва на уста,*

¹ М.Горький. «В.И.Ленин». – Цитируется по изданию: Литературные портреты», Москва, 1967, стр. 38 (прим. перев.).

*И даже кажется, мой милый,
Что и тебя я разлюбила,
Такая в сердце пустота¹.*



Наивная душа Гретхен интуитивно чувствовала – одним лишь своим присутствием Мефистофель убивает любовь, разлагает ее атмосферу. Лирическое начало ему чуждо. Он мог бы создать и более прекрасные стихотворения, чем Райнер Мария Рильке, но им недоставало бы одного: неосязаемого поэтического потока, столь благодатно струящегося в стихотворных произведениях Рильке. В этом кроется тайна проклятия. Подлинное поэтическое вдохновение никогда не посещало Сталина, хотя юношей он и пел в церковном хоре альтом. Но уже тогда это был, несомненно, голос падшего ангела: ибо и падший ангел чарует своим пением. Сталин даже пытался писать стихи. Это были, как ни странно, патристические стихотворения. Однако параллельно он изучал эсперанто, так как уже в то время верил в существование всемирного языка – само собой, разумеется, сконструированного чисто механически. Его явно раздражало органическое многообразие мира. Более того: он не выносил саму жизнь. Как преступника, его тянуло к разрушению, и он стремился на деле испытать и применить свою всеокрушающую волю.

Нигилизм оказался для него весьма кстати. Владимир Соловьев сформулировал все потуги русских нигилистов в следующей иронической фразе: «Человек произошел от обезьяны, следовательно: да здравствует свобода!» Здесь, правда, «следовательно» – суцая бессмыслица, ибо вряд ли происхождение человека от обезьяны могло бы гарантировать ему свободу. Но дело в том, что психология зачастую сбивает логику с толку, а в этом силлогизме определенно кроется какая-

¹ И.В.Гёте. Фауст. Часть I. Пер. Б.Пастернака. Москва, 1985 г. (прим. перев.).

то психологическая загадка. Имей мы доказательство, что человек – из обезьяньего племени, тогда даже самые изобранные утратили бы свои преимущества перед прочими людьми. Наполеон, к примеру, не представлял бы собой ничего выдающегося, а Клеопатра была бы такой же, как и любая другая женщина. Вместе с их преимуществами исчезло бы и благоговение перед ними. Так полагали нигилисты. Однако основополагающей здесь была другая мысль: коль скоро человек в своей сущности равен обезьяне, то идею о сотворении мира, в котором человек создан по образу и подобию Бога, можно считать заблуждением и вытравить из сознания человека мысль о его богоподобии. Этот постулат был недостаточно четко сформулирован нигилистами, но тем не менее они упорно придерживались его.

И Сталин не избежал влияния нигилистов, начав усердно заниматься естественными науками. Он был твердо уверен, что эти штудии приведут его к безбожию. Именно в этом заключался для него коренной вопрос: если Бога нет, значит он свободен. Он не признавал, однако, что человек без Бога утрачивает и связь со Вселенной. Возможно, Сталин подсознательно стремился именно к этому. Если разорвать сакральные нити, связующие вещи воедино, то разрушится сама жизнь. Верный расчет для человека, жизнь которого одна лишь мука.

Он обладает феноменальной памятью – но не воспоминанием! – и железной, холодной логикой. Он удалился от Бога и взрастил себя для преступного самовластия. Во всем он видит лишь негативное; положительное вызывает в нем язвительную усмешку. Хладнокровный, он нередко становился жестоким и неумолимым. Рассказывают, однажды, проходя по узкой улочке, он случайно наступил на цыпленка и сломал ему ногу. Цыпленок с криком пытался убежать. Сталин догнал и раздавил его. «Все равно ты уже ни на что не годен», - сказал

он в приступе ярости... В эти минуты чужая жуткая тень скользнула, наверное, по его лицу.

Ненавистнику жизни всюду мерещились враги. Для подавления врага, кроме всего прочего, нужно обладать двумя качествами: выдержкой и иронией. Выдержка у Сталина такая же, как у йога, а ирония его беспримерна... Медленно, незаметно, бесстрастно дразнит, колет он своего противника, подтрунивает, выводит из себя. Он устранял своих врагов, клеветал и унижал их. Он беспощаден и жесток. Его холодная усмешка временами переходит в язвительный смешок. Злой ли он человек в обычном понимании? Нет, он не убийца, не разбойник, не какой-нибудь преступник. Напротив, он желает людям самого лучшего. И все же есть в его характере зачаток чего-то чужеродно-злого. Может быть, он преследует какую-нибудь личную выгоду? Отнюдь нет. Земные радости: женщины, вино, азартные игры, дурман для него не существуют. Характерно, что за грузинским столом, где все воздают должное Дионису, он один всегда оставался трезв. Он щедр постольку, поскольку находит этому оправдание. Не скупится и на советы, наставляя своих товарищей по революционной деятельности. Но он одинок. Будучи неспособным сказать кому-нибудь метафизическое «ты», он никого не может назвать своим настоящим другом, ибо любого, кто пытается сблизиться с ним, он подчиняет себе. Не исключено, что в глубине души он сознает это как печальный факт и порой даже страдает от собственного характера. В такие мгновения он, возможно, впадает в меланхолию. Но едва ли вероятно, чтобы он хоть на миг открыл перед кем бы то ни было свою душу. Что-то всегда удерживает его от откровения.

Со старым миром у него покончено. Ни кровное родство, ни народ, ни вера, ни сродство душ для него не существуют. Народ заменен массой, а душа – классом. Здесь он всегда в своей стихии. Для восприятия социалистической идеи он

созрел вполне. Учение Сен-Симона и Фурье его не интересовало, так как он никогда не был склонен ни к романтике, ни к утопии. А вот доктрина Маркса поразила его воображение. Здесь были и логика, и твердость. Сталин – природный большевик. В былые времена иного человека, случалось, называли дохристианским христианином. Сталина с полным правом можно назвать добольшевистским большевиком. Нелегальная марксистская литература поступала в Грузию из России. Среди этой литературы стали попадаться статьи Ленина. Они целиком захватили Сталина. Для него началась новая жизнь. В идеях Ленина Сталин нашел то, к чему шел сам слепо, на ощупь: демонизм марксистской идеи. То, что на Западе было «словом», на Востоке должно было стать «делом». И «дело» это невиданным ураганом пронесется над миром, и без того потрясенным в своих основах войной.

Ленин представлял собой сжатую в кулак энергию этого урагана. Человечество не подозревало, какая вулканическая сила была сконцентрирована в plombированном вагоне, в котором он вместе со своими соратниками проследовал через всю Германию, чтобы раздуть пожар революции в России. Ленин появился в России как судьба революции. Он стал ее космическим творцом. Две стихии соединились в этом человеке: славянская и монгольская. Славянская – духание хаоса и презрение к пределам, монгольская – гнетущая меланхолия и страсть к просторам. Воля и инстинкт – вот его составные. Он обладал природными качествами хирурга, которые с годами довел до совершенства: точный глазомер, безошибочная интуиция, самообладание, но не холодное, а пламенное, и твердая рука. При первой же встрече с Лениным эти черты давали о себе знать. Сталин почувствовал их еще до встречи с ним.

В 1903 году он получил из Европы письмо от Ленина, что было равнозначно для него получению Моисеевых скрижа-

лей. В 1905 году Сталин встретился с Лениным на партийной конференции в Финляндии. Великий революционер сразу же распознал в молчаливом грузине надежного бойца и соратника. В 1906 году состоялся партийный съезд в Стокгольме, на котором большевики потерпели поражение. Но как воспринял это поражение Ленин? «Не горюйте, товарищи! Мы непременно победим, ибо мы на верном пути!» Среди его соратников Сталин был единственным, кто воспринял эти слова не только ушами. Уже в 1907 году на партсъезде в Лондоне большевики победили. И как отнесся Ленин к этой победе? Сталин позднее вспоминал об этом: «После своей победы он стал особенно бдительным и осторожным» и процитировал слова Ленина: «Во-первых, пусть успех не вскружит вам голову; во-вторых, закрепите успех; в-третьих, уничтожьте врага, ибо он лишь повержен, но еще не мертв». Эти слова более всего пришлись по душе Сталину, ибо сам он никогда не упивался победой и не оставлял противника недобитым. На съездах Сталин был неразговорчив. Он молчал, как и подобает человеку действия.

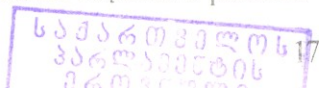
Стихия Сталина – масса. Здесь он всегда был самым собой. Повсюду, от скалистых берегов Финляндии до Колхидской низменности, он чувствовал себя органически слитым с массой. Он встречался с русскими, поляками, украинцами, грузинами, азербайджанцами, латышами, литовцами, евреями и с представителями многих других национальностей. Он хорошо изучил еще дремавшую тогда психологию рабочего класса. Он держал руку на пульсе масс, пробуждая их пролетарский инстинкт. Выкристаллизовал их волю и боевой дух. Встречался с тысячами и был знаком с тысячами. У него никогда не было друзей, а было лишь неисчислимое множество товарищей. Он не оставлял охранке следов, но в рабочих массах оставил неизгладимый след. Однако даже здесь он предпочитал оставаться в тени: появлялся на сходках

нелегальных организаций как таинственный элемент пролетарской души. Ничего удивительного в том, что он с самого же начала постиг своеобразие русской революции. В 1917 году, после июльских событий состоялась партийная конференция. Ленин в работе конференции не участвовал, так как скрывался от властей. Не было на ней и Троцкого, ибо лишь на этой конференции его избрали членом Центрального Комитета. Руководил конференцией Сталин. Он произнес историческую речь: «Не исключено, что именно Россия станет той страной, которая проложит путь к социализму... Фундамент нашей революции гораздо шире, нежели в Западной Европе, где пролетариат один противостоит буржуазии. На стороне нашего рабочего класса беднейшее крестьянство... Следует раз и навсегда отказаться от мысли, что лишь Европа может указать нам наш путь...» Среди слушателей, очевидно, возникло сомнение, согласуется ли это утверждение с основными положениями марксизма. Сталин, по-видимому, заметил это и добавил: «Я сторонник творческого подхода к марксизму». Уже здесь он предстал во всем своем будущем величии.

На Ленина он произвел особое впечатление уже при первой встрече. Ленин чувствовал в этом революционере какую-то темную, слепую силу. В 1914 году Сталина отправляют в ссылку в город Туруханск Енисейской губернии. В ноябре того же года Ленин пишет в письме Карпинскому: «Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Постарайся узнать фамилию Кобы (Иосиф Дж. ... Мы забыли ее). Это архиважно». Сталин находился в ссылке под своей настоящей фамилией: Джугашвили, которую Ленин не мог вспомнить. Ленин помнит о Сталине и в то же время забывает его фамилию, чувствуя что-то чужое, непонятное и вместе с тем притягательно-близкое в этом далеком грузине. Незадолго до Октябрьской революции Ленина обвиняют в принадлежности к

германской агентуре. Оскорбленный до глубины своей благородной души, Ленин решил выступить на суде тогдашнего Петроградского Совета в свою защиту. Сталин почувствовал грозившую вождю опасность и убедил его не появляться на суде. Быть может, это неожиданное решение определило тогда судьбу Октября. После восстания Сталин всегда был рядом с Лениным, хотя и здесь – незримо. Когда Троцкий 15 февраля 1918 года телеграфировал Ленину из Брест-Литовска, прося дальнейших инструкций, тот ответил ему: «Я хотел бы предварительно переговорить со Сталиным, прежде чем ответить на Ваш вопрос». Возможно, тогда Троцкий впервые осознал, с кем ему придется иметь дело в будущем.

Сталин верил лишь в Ленина. Но рядом с Лениным вырастала вторая фигура – Троцкий. Если Ленин был судьбой революции, то Троцкого можно назвать ее полусудьбой – бывают ведь и полусудьбы. Гений революции больше воплощался в Ленине, талант же – в Троцком. Речь Троцкого представляла собой шедевр ораторского искусства; она росла, как бурлящие волны моря, увлекая слушателя за собой. Речь же Ленина была простой, сдержанной, без пафоса, но тем выразительнее. Слово первого воодушевляло, слово второго наставляло. Стиль Троцкого был отточен до предела. После Маркса никто из марксистов не владел пером так мастерски, как Троцкий. У Ленина вообще не было никакого стиля: фразы его путаны и тяжелы, однако они все же убеждали читателя. Троцкий занимался многими проблемами, кроме чисто революционных: искусством, литературой, театром. У Ленина же была лишь одна цель: обеспечить победу пролетариата путем революции.словно единорог направил он всю свою могучую волю по одному-единственному пути. Троцкий как революционер предпочитал зигзаги, иногда даже окольные пути. Возможно, именно в этом заключалась его полуфатальность. Троцкий обладал всеми необходимыми качествами великого револю-



ционера, однако ему не доставало большевистской души. Существует ли такая вообще?

В Евангелии Христос называется «Сыном Божиим» и «Сыном Человеческим». Сын Божий в современном человеке почти умер. Вместо Логоса в нем царит Радио. Гомо сапиенс превратился в гомо техникус. В нем сохранился в цельности лишь Сын Человеческий, а его божественный дар, заключающийся в том, чтобы быть в б о л ь ш е й степени человеком, поставлен под угрозу. Поэтому мифотворческие силы, в которых лишь и проявляется божественность происхождения человека, начинают иссякать, ибо животворное начало мифа утверждается только и только в том феномене, в котором еще жив формообразующий прафеномен.

Сознает ли современный человек себя еще как прафеномен? Едва ли. Будучи уже лишь сыном человеческим, то есть, лишь феноменом, он воспринимает каждое явление только как феномен. Земля для него уже не Великая Мать, а просто некая геологическая реальность. Не оплодотворяемый Логосом, он и сам уже не в состоянии оплодотворять землю, он лишь использует, эксплуатирует ее. Он более не пестун ее, а лишь повелитель и насильник. Так обстоит дело в Европе и Америке.

Что же происходит теперь в большевистской России? То же, что и в Европе и Америке вследствие развития техники. Разница лишь в том, что в России этому способствуют сознательно. Демифологизация мира, убиение Земли – материнского лона Божественного – вот чем одержим большевик. В этом направлении ясно прослеживается воля большевиков к власти. Ленин дал точное определение сути коммунизма: «советская власть плюс электрификация всей страны». В переводе на наш язык это означает: демонизм плюс американизм. Здесь гомо техникус превращается в дьявола. Для Европы и Америки утрата силы Логоса в человеке - трагедия, для большевика же,


безбожного человека, всем нутром своим ненавидящим Логос и презирающим Божественность своего происхождения, - это вакханалия и торжество нигилизма. Для Европы и Америки господство рации стало проклятием, в то время как большевик со злорадством воспринимает его как триумф своей воли. Европейец или американец, уже не оплодотворяя землю, чувствует, что лишен былого счастья, большевик же насилует землю, разлагает ее священную клеточную систему, и коллективизация лишь подтверждает, укрепляет его «всемогушество». И вот, что удивительно: если Европа и Америка, наряду с Логосом почти полностью лишились и низших пластов бытия: воспоминаний, инстинктов, корней, то у большевиков их запасы неисчерпаемы. Еще одна загадка, еще одна отдельная тема для исследования. Лишите индейца божественного огня и внедрите в него интеллект, и вы получите большевистский тип человека. Рацию и инстинкт – более подходящее сочетание, трудно себе представить для революционера. Ленин в полной мере обладал обоими этими качествами, Троцкий же – нет. Большевиком в глубине души он не был. В своем завещании из всех своих возможных преемников Ленин отдает предпочтение Троцкому. Весьма примечательно, однако, что он добавляет при этом: «Но Троцкий – не большевик».

Рассказывают следующий случай, происшедший с Троцким. Это было летом 1923 года. Власть в стране сосредоточилась в руках триумvirата: Сталина, Каменева и Зиновьева. Ленин был болен. Троцкий стоял в стороне. Он руководил Реввоенсоветом. Тень Бонапарта не давала ему покоя; после того, как Ленин слег, его пост приобретал все большее значение, а вместе с ним – и фигура Троцкого. Поэтому триумvirат принял решение направить несколько членов ЦК в Реввоенсовет, среди них, разумеется, и Сталина. Никто, конечно, не сомневался, что автором этого проекта был сам Сталин. В феврале состоялся пленум ЦК, на котором с предельной

осторожностью был затронут вопрос о Реввоенсовете. Сталин сидел молча, выжидая. Троцкий сразу же почувствовал, что речь шла об ограничении его компетенции. Он стал горячиться, потерял самообладание. Предложение ввести членов ЦК в Реввоенсовет он воспринял как свидетельство недоверия к нему и с присущим ему пафосом обратился к присутствующим: "Освободите меня от занимаемой должности и отправьте в Германию рядовым солдатом революции!" Это было уж слишком – эффектный жест Троцкого не произвел однако желаемого впечатления, хотя не оставил равнодушным большинство членов ЦК. Но вдруг поднялся Зиновьев и, то ли подражая Троцкому, то ли не желая, чтобы тот заподозрил его в участии в заговоре, воскликнул: "Тогда вместе с Троцким и меня отправьте в Германию!"

Если слово Троцкого дышало огнем, то слово женственного Зиновьева было податливым, как спелая слива. Итак, пафос обратился в фарс. Лишь после этого поднялся Сталин и с видом огорчения произнес: "Разве может ЦК позволить себе рисковать жизнью двух таких выдающихся его членов?" Однако Троцкий не успокаивался и настаивал на своем. Вдруг встал делегат из Ленинграда Комаров и резко, грубо бросил: "Почему товарищ Троцкий придает этому такое значение? А вы, уважаемые руководители, совершенно напрасно волнуетесь из-за такого пустяка!" Это было для Троцкого неожиданным ударом. Дело, значит, дошло до того, что вопрос, поставленный им, Троцким, представляется какому-то Комарову пустяком?!. Он в бешенстве вскочил, срываясь на крик, потребовал, чтобы его исключили из списка действующих лиц этого спектакля, и ринулся к двери.

Дверь в жизни Троцкого играла заметную роль. Всем памятно, как он с театральным пафосом крикнул в адрес всего капиталистического мира, когда в 1919 году над Советской страной нависла смертельная угроза: "Мы уйдем, но перед тем,



как уйти, так хлопнем дверьми, что мир сотрясется!” Может быть, теперь, идя к двери, Троцкий думал о той своей фразе. Он покидал явно сконфуженный пленум: ведь Троцкий еще ходил в великих революционерах. В зале воцарилось гнетущее молчание. То был исторический момент. Все ждали чего-то – возможно, что Троцкий вот-вот хлопнет дверью. Троцкий взялся за дверную ручку, вероятно, намереваясь хотя бы в малой степени исполнить свою угрозу, высказанную в 1919 году. Но он упустил из виду один пустяк – пленум ЦК заседал в Тронном зале Кремля, дверь которого была столь же массивной, сколь могущественной – бывшая династия Романовых. Троцкий резко дернул дверную ручку – но что это? Дверь не поддавалась. Он налег на нее всем телом, и она, наконец, стала медленно, предательски медленно открываться. Пленум смотрел на маленького, тщедушного, суевающегося человека, прилагавшего нечеловеческие усилия, чтобы открыть неумолимую дверь. Все члены ЦК подавили улыбку, и лишь один из них усмехнулся себе в усы. Троцкий, пристыженный, покинул Тронный зал. Все с нетерпением ждали, что он хлопнет дверью, но ... жест, предназначавшийся для истории, не получился; и виной тому – эта строптивая массивная дверь. Человек, усмехнувшийся в усы, был Сталин. Кто-кто, а он-то уж был уверен, что с ним едва ли случилось бы нечто подобное.

Сталин с самого начала был двойником Ленина. Он, как и Ленин, сочетал в себе рацию и инстинкт, но с той разницей, что второе было в нем развито сильнее первого. В сравнении с Лениным это давало Сталину даже некоторое преимущество. Своим звериным инстинктом Сталин чуял, что полужатальный Троцкий не сможет руководить революцией. И с постоянным подозрением косился на Троцкого, ибо не вполне доверял ему.

При этом им руководила не зависть, а чутье настоящего

революционера, распознавшего чуждый, выросший не из недр революции элемент. Наглядно это проявилось на примере Царицына. Троцкий намеревался использовать в Красной Армии бывших царских офицеров. Сталин же всей душой ненавидел любых интеллигентов. Произошло столкновение между выходцем из революции и пришедшим в нее извне. Ленин чувствовал необходимость как в одном, так и в другом, умело примиряя противоборствующие стороны. Он ограничивал бонапартизм Троцкого с помощью Сталина, а узкой прямолинейности Сталина противопоставлял Троцкого. И между двумя враждебными элементами, из которых один был всегда на виду, другой же постоянно держался в тени, разгорелась бескомпромиссная борьба.

Троцкий рос рядом с Лениным: полуфатальный, он становится полусудьбой революции. Однако без Ленина он неожиданно утрачивает то, что называют в человеке роковой отвагой. Троцкий был не из робкого десятка: в годы Гражданской войны он проявил демоническое мужество. Спасение Петрограда от армии генерала Юденича – полностью его заслуга; и заслуга немалая – ведь Ленин уже было смирился с тем, что Петроград придется сдать врагу, ибо над революцией тогда нависла и другая, более серьезная опасность. К тому же Ленин действовал чисто интуитивно лишь тогда, когда ему приходилось непосредственно вмешиваться в ход событий. Фронты же он поручил Троцкому. Троцкий убедил Ленина в необходимости защиты Петрограда любой ценой, и он защищал его со сверхчеловеческим упорством и мужеством. И все же за всем этим мужеством непоколебимой скалой стояла судьба революции – Ленин. Когда Ленина разбил паралич, Троцкий сразу же лишился своего мужества.

Но вот наступает переломный, роковой для революции момент. В небольшом деле Троцкий терпит фиаско. И как раз в грузинском вопросе. Часть грузинских коммунистов во главе

с Мдивани потребовала для Грузии большей национальной свободы. Против этого требования резче других выступил Сталин: ненавистник отца, он, естественно, не мог любить свою отчизну. Ленин понял, что Грузия представляет собой исключительно своеобразную страну, и поддержал группу Мдивани, хотя с чисто большевистской точки зрения более оправданной казалась, пожалуй, сталинская центристская линия ... Не исключено, однако, что здесь действовали и другие силы. После паралича у Ленина, предчувствовавшего конец, обострился звериный инстинкт. Поверженный единорог своими мутными глазками увидел вдруг, что из обычной, ничем не приметной кошки, каковой казался ему Сталин, вырос тигр. Он упрекал себя, что в свое время недооценил Сталина. Он пытался собраться с силами и мощным окриком загнать угрожающе разинувшего пасть хищника назад, в кошачью шкуру, но слишком поздно. Надо полагать, это было самым горьким разочарованием Ленина... В грузинском вопросе Троцкий поддерживал Ленина – само собой разумеется, не из любви к Грузии. Больной Ленин подготовил доклад, который должен был сыграть на двенадцатой партконференции роль бомбы против Сталина. Однако, боясь повторного апоплексического удара, он передает весь материал Троцкому, а Каменеву – копию письма к Мдивани. Этого было достаточно, чтобы Сталин все узнал. Он приготовился к бою. Сначала попытался уговорить Ленина, но Крупская помешала ему встретиться с вождем. Здесь, по-видимому, Сталин нанес оскорбление супруге вождя. Узнав об этом, Ленин в бешенстве продиктовал Крупской письмо к Сталину, в котором говорит, что рвет с ним, своим бывшим соратником, всякие личные отношения. Это было последнее письмо Ленина и, вместе с тем, самое роковое. Сталин, конечно, хорошо понимал, что означал для него разрыв с Лениным, и со свойственной ему цепкостью и молчаливой уग्रюмостью приготовился к прыжку. Троцкий



вызвал к себе Каменева, сообщил ему все и потребовал, чтобы политика в национальном вопросе – в данном случае в грузинском – была изменена и чтобы Сталин извинился перед Крупской. Каменев передал эти требования Сталину. Сталин уступил: он принес Крупской свои извинения и послал Каменева в Грузию с поручением внести коррективы в национальную политику. Однако после этого он еще больше замкнулся в себе, помрачнел и затаился. Как раз в это время с Лениным случился второй апоплексический удар. Сталин тут же посылает Каменеву вслед телеграмму. Каменев же был достаточно хитрым политиком, чтобы не понять, как ему теперь следует поступить. По прибытии в Тбилиси он перешел на сторону Орджоникидзе, который придерживался сталинской ориентации в национальном вопросе. Вместо того, чтобы выполнить приказ вождя и распорядиться об изменении проводимой до сих пор национальной политики, он, наоборот, способствовал ее упрочению.

Так закончилась эта маленькая интермедия, в которой, однако, решалась судьба будущего вождя страны. Вместе с апоплексическим ударом Ленина Троцкий утрачивает свое историческое мужество, свою фатальную притягательную силу. Он становится неуверенным в себе. Он не знает, что в грузинском языке слово “судьба”, “мужество” и “счастье” имеют один корень. Сталин же знал эти слова и не только их буквальное значение, хотя третье – “счастье” – он никогда до конца не понимал. Еще до смерти Ленина Сталин взял на себя смелость быть Лениным. То, что произошло позднее, следует рассматривать лишь как развитие начала, зачатка.

Несколько страниц из хроники того времени.

В 1923 году состоялась двенадцатая партийная конференция. Письмо Ленина относительно грузинского вопроса на ней зачитано не было. Сталин просто сообщил, что Ленин, де, получил из Грузии неверные сведения и предложил конфе-

рениции свое решение вопроса, которое и было затем принято единогласно. Как ни странно, к этому решению тогда присоединился и Троцкий. Возможно, это было уже началом его душевного разлада. Так или иначе, но он горько сожалел об этом позднее. На съезде Коминтерна, состоявшемся в 1926 году, снова был поднят грузинский вопрос. Сталин спокойно и уверенно заявил (Ленина уже не было в живых), что тогда, дескать, Ленин болел и был не в состоянии вникнуть в грузинские дела. Относительно Мдивани он тогда же сказал: “Утверждают, что я преследовал Мдивани. Допустим, но ведь события, имевшие место позднее, показали, что так называемые уклоны, в которых справедливо упрекали Мдивани, потребовали и более строгих мер, нежели те, которые я применил по отношению к нему в качестве секретаря ЦК”. В заключение он со скрытой усмешкой добавил, что Троцкий, мол, на двенадцатой партконференции голосовал за то решение грузинского вопроса. Троцкому ничего не оставалось, как с молчаливой досадой проглотить это напоминание.

С этого момента начинается длительная изоляция Троцкого. Сталин обрушил на него всю революционную гвардию – Зиновьева, Каменева, Калинина, Бухарина, Томского. Сам же полководец оставался в тени: для успеха дела это было удобно. Тут же появился термин: “троцкизм” в противовес “ленинизму”, и вот уже готов лозунг: “Долой троцкизм!”.

Теперь Сталин почувствовал себя в безопасности. Его беспокоило лишь то, что в завещании Ленина он был подвергнут резкой критике. Ленин смутно чувствовал, что на посту генерального секретаря партии Сталин может сыграть роль злого гения революции. В завещании прямо об этом не говорилось, но это читалось между строк, и Сталин первым прочел это. Он учуял грозившую ему опасность. Но как нейтрализовать ее? Ему удалось воспрепятствовать оглашению завещания вождя и на тринадцатой партконференции. Однако

все вокруг шептались об этом завещании. Тогда Сталин решил на следующий маневр: во время заседания пленума вновь избранного ЦК он сам зачитал текст завещания. В интимной атмосфере Центрального Комитета это произвело впечатление самоотвержения и самокритики. Он спокойно процитировал характеристику собственной персоны, данную в завещании вождя, и затем скромно спросил: “Разве я груб? Может быть, это и так. Но ведь я груб только по отношению к тем, кто идет против воли партии”. (Это было сказано почти откровенно). И далее: “Но если партия примет решение освободить меня от занимаемого поста секретаря, я готов”. А это была уже явная уловка. Взвешенный, хитрый шахматный ход удался. “Просьба” об увольнении, конечно же, была отклонена: ведь большинство в ЦК во главе с Каменевым и Зиновьевым было заранее соответствующим образом обработано. Так Сталин одержал победу над завещанием Ленина.

Влияние Троцкого в партийных кругах начинает ослабевать. В 1925 году он опубликовал книгу под заглавием “Октябрь”, в которой Зиновьев и Каменев, не принимавшие участия в Октябрьском восстании, называются трусами и предателями. В борьбе против Троцкого эта книга оказалась для Сталина бесценной находкой: теперь Каменев и Зиновьев вынуждены сделать все для того, чтобы добить Троцкого. Они вспомнили об его прежних “грехах”, о конфликте с Лениным и еще о многом другом - словом, объявили Троцкому непримиримую войну. Сталин лишь потирал руки от радости. В 1925 году Троцкий был “освобожден” от должности комиссара по военным делам. В результате он сразу же лишился своего положения, благодаря которому в свое время мог совершить государственный переворот. Троцкий был повержен. В борьбе двух демонов, как всегда, Ариман – порождение ненависти и злобы - одолел полугения Люцифера.

Лишь теперь Каменев и Зиновьев поняли, что были не более чем орудием в руках Сталина. Но покаяние опоздало. Они нейтрализовали именно того, кто мог сместить Сталина. Они заключают с Троцким союз против Сталина. Однако Троцкий уже не был прежним Троцким; грузинская поговорка гласит: рысак, которому хоть один-единственный раз свело ногу судорогой, уже ни к чему не пригоден. К тому же сам факт внезапного перехода Каменева и Зиновьева на сторону Троцкого, с которым они еще недавно вели отчаянную борьбу, в глазах большинства ЦК выглядел весьма неприглядным. Сталин, конечно, воспользовался и этим настроением. Каменев и Зиновьев объявили свою прежнюю борьбу с Троцким недоразумением, ошибкой. Это усугубило их и без того шаткое положение.

Однако оппозиция не прекращала сопротивления. В 1926 году она повела наступление против выдвинутого Сталиным тезиса о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Сталин упорно защищался. Обе враждующие стороны забросали друг друга цитатами из Маркса, Энгельса, но больше всего, конечно, из Ленина. Никто, однако, по-настоящему не понимал, что с помощью цитат ничего доказать нельзя. А оппозиция к тому же забыла, что власть куется не цитатами. Произошло то, что и следовало ожидать: 16 октября того же года Троцкий, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Сокольников, Евдокимов прекратили борьбу. Они заявили, что подчиняются воле партийного большинства и просят сохранить за собой возможность отстаивать свои убеждения внутри партии. Это уже было коллективным поражением. Оппозиция все еще не видела, что “внутри партии” означало “в руках Сталина”. До этого они имели уже возможность испытать на себе твердость этих рук – тем неожиданнее было их решение. На следующем же пленуме ЦК они смогли убедиться в этом: Троцкий и Каменев были выведены из состава политбюро, а

Зиновьев отстранен от руководства Коминтерном. Тем не менее, оппозиция не собиралась складывать оружие. Она продолжала борьбу в рамках Коминтерна. При этом она опять-таки упустила из виду, что Коминтерн был просто-напросто отдан на произвол Центрального Комитета, и снова потерпела фиаско. Особенно чувствительное поражение потерпел Каменев, которое он позднее, конечно, учел. В разгаре дискуссии Сталин с напускным безразличием, но с едкой иронией произнес: “Я говорю о случае, происшедшем с Каменевым в то время, когда он после отбытия срока ссылки еще находился в Сибири. Товарищ Каменев после мартовской революции встретился с ведущими коммерсантами Сибири для того, чтобы послать поздравительную телеграмму Михаилу Романову, которому царь после своего отречения уступил трон. Известный большевик вкупе с видными купцами посылает поздравительную телеграмму Михаилу Романову, брату бывшего царя, долженствующему сменить последнего на троне!?” Все члены ЦК были возмущены неслыханной выходкой Каменева. К дискутируемому вопросу это сообщение не имело прямого отношения, но тем сильнее, тем убийственнее был его эффект. Пристыженная и смущенная оппозиция была вынуждена умолкнуть вместе с Каменевым.

Так была разбита левая фаланга ленинской гвардии. Пронесся слух, что китайские союзники предали Сталина. За день до этого Сталин продиктовал восторженную речь, посвященную китайской революции. Говорят, она уже была набрана для “Правды”. Однако статья не увидела свет: как видно, Сталин хотел этим сказать, что и по отношению к китайским событиям он не допустит промаха. И тут побежденная оппозиция пришла в себя. Зиновьев вдруг осмелел: на собрании, участниками которого были и беспартийные, он злорадно намекнул руководству ЦК на отношение Сталина к китайцам. Троцкий же пошел еще

дальше: он обвинил Сталина в предательстве дела мировой революции. Было распространено письмо, направленное против Сталина как руководителя партии, подписанное 38 старыми большевиками. Группа рабочих в составе 15 человек охарактеризовала политику Сталина как антипролетарскую. И снова разгорелась жестокая борьба. Разгневанный Сталин готовился к отмщению. Троцкий собрал свои последние силы. На очередном пленуме он просто потребовал освобождения Сталина от поста генерального секретаря ЦК. В ораторском пылу он сослался на пример Клемансо, который в 1914 году при приближении немецкой армии к столице Франции потребовал отставки несостоятельного французского правительства. Как всегда, Троцкий “увлекся”. Этот его удар Сталин парировал с присущей ему легкостью: “В то время, как враг стоит не далее, чем в 80 км от стен Кремля, этот наш Клемансо, этот опереточный Клемансо, так как враг уже подошел вплотную к Кремлю, сначала, значит, расправится с существующим большинством (Центрального Комитета) и лишь после этого займется решением самого вопроса”. И в этом не было никакой логики, однако, тем сильнее и точнее оказался контрудар. Очень тонко Сталин намекнул на то, что большинство ЦК на его стороне, а еще тоньше – на то, что Троцкий лишь в непосредственной близости воображаемого противника намеревается проявить свое мужество, чтобы затем воспользоваться замешательством большинства ЦК. И все же решающую роль в контрударе Сталина сыграли вводные слова: “этот наш Клемансо, этот опереточный Клемансо”. В стычках между революционерами метко брошенное словцо часто решало судьбу того, против кого оно было направлено, так случилось и на сей раз: прозвище, данное Сталиным Троцкому, прозвучало, как приговор. Итак: Троцкий – опереточный Клемансо? Этот удар оказался тем убийственнее для Троцкого, что был совершенно неожиданным для него. И

снова оппозиции пришлось отступить.

В 1927 году отмечалось десятилетие Октябрьской революции. Оппозиция попыталась еще раз собраться с силами: в Ленинграде и Москве она организовала массовые демонстрации против центрального руководства. Оппозиция, однако, не учла, что СССР – не царская Россия, в которой подобные средства борьбы с противником еще имели какой-то смысл. Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Та же судьба постигла на пятнадцатой партконференции Раковского, Радека, Пятакова, Каменева. Зиновьев и Каменев вскоре покаялись. Сталин назначил обоим, как «неисправимым ученикам», испытательный срок. Это означало для них уже не только политическую смерть, но и позор.

Так Сталин окончательно расправился с левой оппозицией. Кое-какие требования, выдвигавшиеся левыми, он все же счел в целом справедливыми и начал претворять их в жизнь. Так он объявил непримиримую классовую борьбу кулакам, то есть зажиточным крестьянам.

Но вот появилась оппозиция справа, не обладающая, впрочем, ни силой, ни гибкостью, ни цепкостью левых. С нею Сталин справился играючи. На какой-то конференции он даже поднял на смех лидеров новой оппозиции: Рыкова, Бухарина, Томского: «Вы, - сказал он, - страдаете той же болезнью, что и известный герой Чехова, учитель греческого языка. Он, как вы знаете, постоянно ходил в галошах, в теплом пальто на вате, с зонтиком как в холодную, так и в теплую погоду. Когда его спрашивали, почему он в июльскую жару ходит в галошах и зимнем пальто, он неизменно отвечал: «Как бы чего не вышло ... как бы мороз не ударил ... Что тогда мне делать?..» Он боялся всего нового и прежде всего того, что выпадало из привычной, монотонной жизни. Когда открывался новый ресторан, Беликов волновался: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло ...» Появилось новое

литературное общество, открыли читальню, а Беликов испугался: «Как бы чего не вышло ...» Сталин привел случаи из жизни и деятельности Рыкова, Бухарина, Томского - и они предстали перед многочисленной аудиторией в роли смешного, незадачливого учителя греческого языка. Дружный продолжительный хохот прокатился по залу, в котором проводилась конференция.

К тому времени Сталин уже был диктатором ...

Проходили дни, недели, месяцы, годы ... Оппозиционные группы справа и слева, как могли, противостояли Сталину, но, закаленный в борьбе, он неизменно одерживал над ними верх. Победенные склоняли головы перед ним и каялись в своих прегрешениях. Всех изумляли победы этого «чудесного грузина». Задним числом они пытались понять значение этого прозвища, данного Сталину вождем. Они дивились, но не понимали, откуда в этом грубом, диком кавказце такая неодолимая сила. Всем было невдомек, что неиссякаемый звериный инстинкт большевистской души Сталина питает рассудок. Для достижения победы именно этот фактор имел решающее значение. Победа следовала за победой, и не было силы, способной остановить его. В немифологическую эпоху на территории бывшей Российской империи вдруг появился человек, обладающий неслыханной тотемистической силой.

Судьба революции - Ленин – лежит в гробу - забальзамированный миф о новоявленном фараоне. Герой революции Троцкий, сосланный на берега Босфора, пишет там, или где-то в другом месте, мемуары. Штурвал революции в руках Сталина. Он сидит в Кремле, словно очеловеченный радиоприемник, принимая со всех концов Советского Союза бесчисленные радиоволны. Но Сталин не только приемник, но и творец этих волн и их судья. Одним указом он притормозил всю коллективизацию, когда «успехи» вскружили голову

не в меру ретивым и чуть было не привели страну к катастрофе. В течение восемнадцати лет он был погружен в молекулярные процессы, происходившие в массах рабочих, будучи сам редчайшей молекулой, и не было такой, которой бы он не коснулся. Другие его соратники жили до революции вне России. Они следили за развитием революционных событий на Родине из Европы, отсиживаясь в эмигрантских мансардах. Сталин постоянно находился в водовороте рабочих масс – незримый, но активный их элемент.

В прежние времена в вожаке племени концентрировалась сила всего рода. Сталин аккумулировал в себе энергию масс; и когда развитие революции стало приближаться к победному концу, он вдруг неожиданно для всех оказался в ее авангарде. Он олицетворял собой революцию. Он уже – не человек, он – существо или чудовище, непостижимое и страшное.

Кое-кто сравнивал его с Чингисханом или с Тимуром. Это неудачное сравнение, ибо у монгольских завоевателей были страсть, душевные порывы и бредовые идеи. Для Сталина страсть не характерна вообще: он был холоднокровным существом. В определенном смысле это даже умножало его силу. Слова Ницше о зрелости гения: «К нему вернулась серьезность, которая была для него характерна в детстве, во время игры» к Сталину никак не отнести. Такой серьезностью он не обладал никогда, ибо у него и в детстве не было детства: с малых лет он был удручен и не любил играть. Свободный от каких бы то ни было комплексов или скованности, он действовал подобно стихии: слепо и всепоглощающе.


Поговаривали, что он завистлив, подтверждая это следующим случаем: за спасение Петрограда политбюро решило наградить Троцкого орденом Красного Знамени. Каменев вдруг предложил вручить этот орден и Сталину. «За что?» – громко спросил Калинин, И Бухарин объяснил: «Неужели вы



не понимаете? Это предложил Ленин. Ведь Сталин не терпит, когда не получает того же, что и другие. Он этого просто не прощает». Об этом случае рассказывали, упустив из виду, что на сей раз, если это, конечно, не выдумка, Ленин ошибся, несмотря на свое превосходное знание людей. Сталин просто-напросто не мог быть завистливым. Он, правда, не вынасил, когда кого-нибудь выделяли, но не потому, что сам хотел быть выделенным, а потому, что не терпел вообще никакого избранничества, будь то чужое или его собственное. Ощущение избранности – свойство экстатическое. Сталин же даже в переносном, отдаленном значении этого слова никогда не обладал дионисийским началом. Именно отсутствие этого качества послужило для Сталина своеобразным непробиваемым панцирем в борьбе за власть. Упоение победой чуждо ему.

Всех поражает аскетизм Сталина, то, что ему чужды чувственные наслаждения: женщины, вино, азартные игры. Однако, никто не понимает, что Сталин никакой не аскет – наслаждение не в его натуре. Нужно любить, чтобы ощущать радость, радость до самозабавения. Сталин же никогда не забывался; и слова Достоевского об аде, хотя Сталин не верит ни в ад, ни в рай и, вслед за Лениным, всякую веру в Бога принимает за труположество – слова Достоевского: «Он (ад) есть страдание о том, что нельзя уже более любить» – должно быть, заставляют его порой задуматься. Он не был наделен даром любви. Это душевная пустота – причина его безграничной меланхолии, которую он скрывает за непроницаемой ширмой своей неутомимой деятельности.

Снедаемый лихорадкой активности, Сталин сидит в Кремле – власть имущий, но не властелин, ядро революционных сил, существо, но не человек, проводник с предостерегающей надписью: «Опасно для жизни!» Даже разговор с ним по телефону действует угнетающе. Никто не




застрахован от него. Излучая флюиды, наводящие ужас на людей, он неприступным колоссом возвышается над всеми – слепой и холодный рок Советской страны, а, быть может, - и всего мира. В редкие мгновения его жизни, когда в нем, невозмутимом и непоколебимом, отключаются эти флюиды и он выползает из их сети, опустошенный, чужой самому себе, в страхе сознающий, что силы его небеспредельны, тогда он, Сталин - всего лишь Сосо Джугашвили, простой грузин. Тогда он смутно вспоминает далекую Грузию, от которой у него сохранились лишь вкус сациви, кахетинского вина, застольная песня «Мравалжамиэр» и грузинское проклятие: «Магати дэда ки ватирэ» («Уж наплачутся у меня их матери»).

1935 г.

ГОЛОВА НЕФЕРТИТИ

Амон приблизился к Амозе, ибо была она прекраснее всех женщин Нильской Земли. Бог принял облик фараона и под покровом ночи неслышно подошел к ложу почивавшей царицы. Трепеща от страха, она узнала его и воскликнула вне себя от ликования: «Как прекрасен ты в облике своем сиюминутном! Ты наполнил мое благородство своим величием! Роса твоя – в моих членах!». Царица родила девочку Хатшепсут, тонкие черты которой резец мастера увековечил на лице сфинкса. Но это предание, похоже, скорее относится к Нефертити, ибо, если какая-нибудь из дочерей Земли и являлась нам в облике богоподобном, то это прежде всего она, Нефертити.

Ее голову лучше всего рассматривать в часы сосредоточенности, когда душе открывается тайна. На стройной, длинной, слегка изогнутой шее газели, способной, кажется, вдохнуть жизнь в угасающий жемчуг, в повелительном наклоне покоится точеная голова. Губы – чувственно-пухлые. У уголков рта едва заметная складка, выдающая неутолимую жажду опьянения земным счастьем. При взгляде снизу, трепетно ощущаешь ее священную строгость. В больших, цвета аквамарина глазах, осененных темными ресницами, одновременно – и застенчивость, и властность. Глаза эти были бы совершенно прозрачны, если бы не их колючий взгляд. Упрямо и все же грациозно взметнулись над ними густые, длинные брови. Ушные раковины, точеные, крепкие, как будто хранят в своих извилах сладостно-далекий отзвук давно отшумевшего



рокота волн. Женщина солнечных кровей обращена лицом к светилу, глаза ее застыли в созерцании покойно мерцающего горизонта. Кажется, она смотрит наружу, но на самом деле взгляд ее ощупью ходит внутри ее. С глубоким блаженством ощущает она беззвучное пение своей крови. Образ ее доминирует над ландшафтом. Солнечные лучи напитали зноем золотистый песок, мерцающий так, словно он – семя солнца. Синеватые тени тяжелым матовым металлом ложатся на безбрежную равнину. Тонкие женские черты выделяются своей чистотой на фоне безбрежного океана света.

Сквозь дремлющий в дыхании полуденного зноя песок величаво катит Нил свои сине-зеленые воды. Вместе с легендарной рекою и женщина плывет в бесконечную даль. Выжженная пустыня, храня жуткое молчание, подступает к великой Нильской долине, с явным намерением поглотить тело реки, опалить ее своим знойным дыханием. Женщина трепещет в предвкушении невыразимого блаженства: не изнаывает ли так же по ней и солнце – этот «пылающий бутон, от которого расцветает мировой океан»?

Дочь солнца чувствует, что желанна солнцу. Она вдруг вздрагивает от изумления, вспомнив, что солнце оплодотворяет само себя, задумывается над символом скарабея, почитаемого ее народом, как священное насекомое. Это тот самый жук, что оплодотворяет себя в своем собственном свернутом в капсулу помете. Иероглифический знак его означает «бытие», нераздельное, завершенное в самом себе бытие, невыразимый отблеск которого не покидает ее лик.

Медленно и отрешенно погружается дочь Египта в Бесконечность. В темной глубине его она ощущает себя юным отпрыском материнского тела египетской земли: лоно ее предчувствует вождение солнца.

И вот она поднимает руки к подбородку – как торжествен, как величествен этот жест – и в благоговении направляет

ладонь своей десницы к горизонту. Слова молитвы принадлежат ее царственному супругу Эхнатону, Аменхотепу IV:

*Когда лик твой сияет,
вновь исцеляется мир,
торжественно пылают страны Земли,
росой окропленные, в сиянии преображенные;
руки воздев, они обращают к тебе молитвы.
Звери радуются пастбищам,
зеленеют деревья и травы,
взлетают птицы над гнездами своими,
крылами славя тебя неустанно...
Ты даешь жизнь плоду во чреве женичины,
ты пробуждаешь семя мужское,
тобою дышит птенец в скорлупе,
ты даешь ему силы пробить ее.
Ты всех питаешь, о, нерожденных сиделка,
ты – дыхание всех тварей твоих,
покидающих темное лоно...
Ты – биение моего сердца.*

«Ты – биение моего сердца». Это говорит Эхнатон солнцу. Не подразумевает ли он под солнцем свою прекрасную возлюбленную? Лишь мужчина, познавший Нефертити в том смысле, в каком Адам познал Еву, мог найти для солнца такие неповторимые слова.

А теперь попробуем взглянуть на этот продолговатый, благородный череп в профиль, ибо, если смотреть на него прямо в лицо, может смутиться дух. Далеко отстоящие друг от друга кошачьи глаза, из которых левый к тому же кажется остекленевшим, что еще сильнее подчеркивает темное, чувственное начало, обладают колдовскими чарами. Чтобы узреть прекрасную царицу, следует прежде всего усвоить чисто египетское созерцание. О таком созерцании сообщает Снофру.



Однажды, когда властитель Снофру исполнился печали, какой-то мудрец посоветовал ему: «Да отправится Его Величество к озеру, что у дворца. Да повелит он посадить в челн прекраснейших девушек из дома своего. И сердце Его Величества возрадуется, когда узрит он, как гребут женщины. И тогда откроются ему чудесные просторы озера, и увидит он дивные берега и поля, и всем этим наполнится сердце его». И властитель, вняв совету, тотчас повелел: «Подать мне двадцать весел из эбенового дерева, обитых золотом, с рукоятями из секебового дерева, украшенными тонким золотым узором. Привести мне двадцать женщин, да таких, что еще не рожали, самых стройных, с красивыми грудями и косами. Принести мне двадцать сетей и дать эти сети женщинам вместо одежды!». И было исполнено его повеление. И они гребли, эти избранницы, гребли то вперед, то назад, и сердце повелителя возрадовалось, глядя на них. Так гласит предание.

Итак, Снофру забыл о своих печалях, глядя на движения стройных женских тел, любуясь их греблей в прозрачных одеждах. Можно себе представить, с каким душевным целомудрием, с какой страстностью и в то же время сдержанностью наслаждался властелин обнаженными женскими телами. И с Нефертити возможен лишь только такой контакт. Только египетское самообладание может позволить хоть как-то приблизиться к разгадке тайн и легенд, которыми обросло имя египетской властительницы.

Взор прекрасной царицы безмятежно скользит по необозримым просторам. Горячее дыхание пустыни грозит гибелью всему живому. Страшная песчаная буря замечает любой след: будь то след зверя или человека. Огромные кочующие дюны погребают под собой жилища и все, что попадает на их пути. Царице Нефертите ведома страшная сила пустыни. И не открыто ли сердце ее для этого ужаса? Не всплывает ли в недрах ее сознания мрачная мысль о том, что

когда-нибудь все поглотит пустыня, все станет пустыней? Может быть, и она, Нефертити, подвластна этому закону, закону бренности всего сущего? Нельзя не увидеть легкой тени невыразимой печали, скользящей по ее безмятежным чертам.

Вдруг перед ее внутренним взором блеснул мифический образ, о котором говорил ей верховный жрец. 19 июля из ока солнца падает капля в маленькую речку, берущую начало в безымянных источниках Элефантина. Именно благодаря этой капле речушка раздувается в могучую реку Нил. Половодье вновь возвращает жизнь изнывающей от жажды земле – снова расцветают деревья, чуть было не высохшие, и снова оживают родники, казалось бы, уже иссякшие, и радость вновь расцветает вокруг. Блаженство вновь наполняет женщину. Сколько раз она вместе со своими подружками отмечала праздник «Ночь капли»! Сколько раз она пела с ними:

*С его разливом ликует страна,
тело исполняется радости.
Тот, кто был опечален,
возрадуется,
в сердце каждого веселье ...
Уже звучит мелодия арфы,
и люди поют ...
С разливом Нила
приносят жертвы,
закальвают скот,
 устраивают торжества,
для тебя о, Нил, откармливают птицу,
для тебя отлавливают антилоп пустыни.
Тебе воздают за добро твое ...
Ты зеленеешь, зеленеешь, зеленеешь!
Ты, питающий человека скотом его,
а скот его – своими лугами.
Ты зеленеешь, зеленеешь, зеленеешь, о, Нил!*



Итак, найдена последняя метафора: капля, упавшая из ока солнца в речку при Элефантине, раздувшая ее затем в большую реку, в Нил. Не Нефертити ли эта капля? Она как будто смотрит изнутри себя, наружу, эта прекрасная царица. Однако, приглядевшись повнимательнее, можно увидеть, что взор ее направлен вовнутрь, в себя самое. Она чувствует, та чудотворная капля, то солнечное семя упало в ее лоно, и силы земные превращаются в ней в могучий поток Нила, которому вся страна обязана плодородием. Вместе со всей страной расцветает и она, легендарная супруга Эхнатона.

Нефертити стоит теперь перед нами, словно Изида, с которой наполовину сняты покровы. Подобно растению, погружается она в глубь своего существа. Внутренним взором нащупывает темное первоначало своего бытия. Несколько мгновений, и она как растение, ощутившее в себе первожданность, - чувствует, как нечто в ней возвращается к первоистоку. Это нечто есть вечность. Царица превращается в миф о самой себе. Очарованные, исполненные счастья, смотрим мы на ее прекрасный лик: он доверительно близок нам и в то же время бесконечно далек. словно дуновение над спокойной гладью моря, веет над ней Невыразимое. Она растворена в мгновении, а мгновение – в ней; немое выражение вечности. Ни к одной женщине во всем мире нельзя отнести слова Зулейки в такой мере, как к Нефертити:

*Я в зеркале – красавица, а ты
пугаешь: старость, мол, не за горой.
Но в боге вечны сущего черты,
Так в юной – бога ты во мне открой¹.*

Вот этот миг как раз и увековечивает собой Нефертити, и как будто это о ней сказал Гёте.

¹ Цитируется по изданию: Иоганн Вольфганг Гёте. Западно-восточный диван. Москва, «Наука». Пер. В.В.Левика, с.46.



Безымянный ваятель, обессмертивший Нефертити в камне, и в самом деле передал таинственное «Ка» чудесной царицы. Как и всякий истый египтянин, он, наверное, стремился найти «Ка» в любом явлении. «Ка» – внутренняя субстанция существа: она живет первоначально, воплощаясь на Земле, уходит после смерти в духовные сферы. Она являет собой единственный в своем роде лик. В ней проявляется Божественное: благодаря этому она обретает свойство вечности. Она неосязаема и все же вполне ощутима. Египтянин во всем чувствует прикосновение «Ка». Каждое мгновение для него пропитано «Ка». Вот почему египтянин влюблен в мгновение и стремится удержать его, пытается хоть как-то остановить его. И земное воплощение для него не что иное, как подобное вечное мгновение, светящееся во прахе. Он обрабатывает тело умершего хранящими веществами, свивает его плотными льняными бантами. Так он готовит для «Ка» земную оболочку. Затем укладывает мумию в гранитный гроб и совершает обряд погребения в усыпальнице из скалы или пирамиды. И высекает имя – ведь имя, это нечто особенное, оно включает в себя личность – чтобы оно хранило покойника. Итак, «Ка» замуровано в мумии. Но мумия дремлет, и все вокруг напоминает о неземной жизни. Неутомимой страстью к увековечению мгновения дышат необозримые равнины страны пирамид. Медленному течению Нила соответствуют застывшие обелиски, саркофаги и храмы. Миф воплотился здесь в камне. Из гигантских скальных стен выжидающе смотрят сфинксы, словно чуя таинственность, царящую вокруг.

Так представляет себе и так формирует египтянин «Ка» – внутренний образ существа. Но и в изображении он продолжает руководствоваться принципом «Ка». Именно здесь с особой силой проявлена его духовидческая изобразительная сила. От созерцания пластики Египта мороз проходит по коже: ведь это ни дать ни взять живые существа! И без того любосе



изображение фиксирует собой некую непостижимую сущность изображаемого. Известно, что необычайно одаренные люди могут по фотографии определить, жив ли еще изображенный на нем человек или уже ушел в лучший мир. Не происходят ли в материале-носителе изображения химические изменения после смерти изображенного? Никакой другой народ не обладал столь высокой степенью выразительной фиксации прообраза в образе, как египтяне. И в самом деле, то или иное вещество, побывавшее в руках египетского художника, как бы заново обретает и воплощает в себе «Ка».

Среди египетских изображений выделяется одно – портрет прекрасной царицы Нефертити. В этом портрете чувствуется живое дыхание бессмертной «Ка» Нефертити: она и в самом деле живет, живет вполне осязаемо, непосредственно. В своем застывшем покое она так глубоко погружена в космическое мгновение, что производит впечатление сладостной отрешенности. Капля солнца, она превратилась в родниковую силу египетской земли. Пьянясь и пьяня, она уже Изида, пребывающая в чутком, счастливом ожидании солнца. Она сияет в сладостном предощущении неземного блаженства, и свет играет на ее чувственных губах, тронутых тонкой, едва уловимой улыбкой.

Сравним улыбку Нефертити с улыбкой Джоконды. Улыбка Моны Лизы выдает многоопытную женщину, сознающую свое чисто женское превосходство. Глядя на нее, мужчина испытывает некое подобие космической слабости, ибо улыбка действует на него обескураживающе. Не так улыбается Нефертити: ее улыбка полна девичьей застенчивой прелести. Ее неисчерпаемая сила Изиды оплодотворяет солнечное семя любящего. Возможно, она не вполне осознает это, но в недрах своего существа убеждена в этом. За головой Хефрена, мастерски изваянной из блока зеленого диорита, сидит сокол, распростерший крыла над своим властелином.



Сокол охраняет мужчину, и, возможно, придает ему скрытую силу. Нефертити знает: глаза сокола светятся мужеством и взмах его крыльев подобен удару молнии. Известно ей и то, что солнце египтянину представляется в образе сокола. Для египтянина нет отраднее мгновения, когда вместе с солнечными лучами он видит сокола – тогда гордая птица для него луч солнца, нежданно-негаданно обретший крылья.

Нефертити ведомо все это. Именно сокол придает Хефрену солнечную силу. Этой силой и оплодотворяет Нефертити любимого мужа. Эхнатон, имевший обыкновение говорить о себе: «Я жив истиной», обладает также солнечной силой, он посвящен в тайну солнца, он – поэт солнца. Он безмерно любит свою юную прекрасную супругу и творит под знаком ее сладкого имени. Нефертити волшебной силой Изиды пробуждает в Эхнатоне солнечное семя – не просто для зачатия, хотя она и подарила ему прекрасных дочерей, и не для удовлетворения похоти – это могло бы повредить ее сокровенной сущности – а лишь для того, чтобы в божественном «Ты» сохранить свой непреходящий лик. Она любит и расцветает в вечном. Такой явилась она нашему взору: чудодейственной, величественной, овеянной дыханием Невыразимого.

Теперь она обрела жизнь в материале, которому придана определенная форма и которая называется Головой Нефертити. Может быть, время разрушит и этот материал. Что же пребудет? Неужели вместе с материалом исчезнет и сама Нефертити? Нет. Разве исчезла бы Девятая симфония, будь уничтожены все скрипки и горны, гобои и фаготы? Она, наверное, еще звучала бы где-то в царстве звуков до скончания мира. Так и Нефертити, словно магическая музыкальная волна продолжает жить, уходя в вечность. Мы зачарованно смотрим на ее лик, и нам все еще слышатся таинственные слова:



*Я в зеркале – красавица, а ты
Пугаешь: старость, мол, не за горами.
Но в боге вечны сущего черты,
Так в юной – бога ты во мне открой.*

ПЕРВОРОДНЫЙ СТРАХ И МИФ

Каждый раз, когда я поутру вскрываю письма, мною овладевает странное чувство. Это не обычное любопытство, не просто стремление узнать, что происходит, а скорее всего нечто вроде страха перед самым событием, свершающимся в данный момент. Все то, что в бытии выражается глаголом «быть», здесь предстает в абсолютной ясности: то или иное явление просто «есть». Но бытие вместе с тем совершенно открыто для потока непрерывного становления, процесс которого всегда протекает скрыто. Каждое мгновение таит в себе нечто новое, еще не свершившееся, и мы всегда стоим перед тайной. Я ощупываю конверты, осторожно вскрываю их – иногда при этом у меня дрожат руки – и вдруг меня пронизывает Непостижимое. Дело, конечно, не в том, что я пребываю в постоянном ожидании чего-то недоброго. Нет, мир других существ просто и бесцеремонно вторгается в мой мир. Ах, если бы почтальон знал, сколько судеб заключено в его кожаной сумке! Между мной и окружающим меня миром возникает тончайшая перегородка, и мое «я» тут же отступает в свои пределы. Несколько движений – и «я» наталкивается на эту перегородку. В таких случаях человек сразу же ощущает себя оторванным от окружающего мира, замкнутым в своем собственном «я». На этом отрезке, на этой грани мы соприкасаемся с бытием метафизически. Это – не познание, а лишь ощущение, но тем значительнее соприкосновение. Вот здесь, на этой грани тихо, смутно дают о себе знать корни

страха. Чем тоньше грань, тем полнокровнее «я», но и тем глубже страх.



Если столкновение «я» с гранью происходит одновременно в разных плоскостях, то страх становится еще глубже, ибо плоскости, пересекающиеся друг с другом, входящие друг в друга, сами представляют собой грани, благодаря чему бытие еще острее противопоставляется осязанию души.

Непостижимы эти втиснутые одна в другую плоскости. Приведем для иллюстрации сказанного один пример. На поле брани подбирают павшего солдата. Сердце его уже не бьется. Сам по себе этот факт еще не вызывает душевного потрясения, так как каждый павший на поле брани едва ли – нечто большее, нежели любая, ничем не примечательная вещь среди прочих вещей. Официально мы фиксируем – солдат мертв. Но вот, что мы вдруг замечаем: в кармане погибшего тикают часы. Благодаря этому тиканью неожиданно для себя мы осознаем весь ужас того, что произошло. Лишь теперь в полной мере мы ощущаем – и страх, сопровождаемый холодным потом, подтверждает это – присутствие смерти. Или другой пример. Мы проезжаем через местность, населенную католиками. Земля в зеленом уборе и пышном цвету. Во всем чувствуется плодотворный дар материи: опьяненный полдень, час Пана. Еще несколько шагов, и на повороте внезапно вырастает каменное распятие – символ первопричинного страдания. И сразу же физика преобразуется в метафизику.

А вот еще пример. Отрешенно наблюдая за автомобилем, чувствуешь, что перед тобой чудовище. Подобное чувство, вероятно, испытывал бы, глядя на машину, и первобытный человек. Ведь машина такое физическое тело, каким, к примеру, является зверь, дерево или камень, она есть творение, хотя и не рук Творца, ибо создана человеком, к тому же не рождена, а лишь сконструирована им. Когда машина заведена и находится в движении, она невольно вызывает смутный,

безотчетный страх. Случается, она мчится порой без водителя, мчится слепо, бешено, эпилептически, и тогда кажется, что она – охваченная безумием тварь, лишенная каких бы то ни было чувств. Извергающая из своих сопл маслянистую слюну, она – исчадие нового Апокалипсиса – неистовствует в бессильной злобе. Непреодолимый ужас охватывает тогда человека.

Приведем еще один характерный пример. Из многоэтажного дома выносят гроб с телом покойника. Носильщики идут молча, не в ногу, неуклюже. С превеликим трудом спускают они длинный гроб по узкой лестнице. И вот гроб, наклонившись набок, застревает на одной из лестничных площадок. Глухо раздаются выкрики мужчин: “Левее!” “Сзади немного выше!” “Осторожно!” и т.д. Однако гроб упрямо не поддается сильным мужским рукам, поддерживающим и подталкивающим его. Крышка гроба, согласно обычаю православных, уже вынесена и стоит где-то впереди в ожидании гроба. Гроб плывет, словно бездушная, неумолимая мебель, и в нем покачивается из стороны в сторону голова мертвеца, как бы воскреснувшая на несколько секунд и прислушивающаяся к выкрикам людей, несущих ее. Уж не улыбается ли покойник? Или он просто злится? Воздух призрачно сгущается.

Эти жуткие случаи представляются мне художественными экспромтами скрытой реальности. Атмосфера втиснутых друг в друга плоскостей вызывает содрогание. Но еще более зловещее впечатление производит столкновение «я» с гранью, отделяющей его от окружающего мира. Некто издалека получает по телеграфу извещение о скоропостижной смерти единственного друга. Сердце оставшегося в живых разбивается о внезапно выросшую перед ним преграду. Спустя несколько дней он получает от того же друга письмо, написанное до смерти. Он с сердечным трепетом читает



строки послания: друг обращается к нему с нежными словами, подбадривает, воодушевляет его, шутит, рассказывает веселые истории – словом, живет. И все же последний час его уже пробил. Здесь смерть ощутима, а скорбь переходит в страх.

Страх коренится в самом бытии: чем больше плоскостей пересекаются друг с другом, тем сильнее, тем острее страх. Но острее всего страх ощущается тогда, когда непосредственно касаешься таинственной жизнеобразующей силы – крови.

В детстве мне не раз приходилось резать кур. Левой рукой я хватал их за крыло, большим пальцем захватывал голову так, чтобы глотка освободилась от перьев, а правой орудовал ножом. Я испытывал при этом весьма неприятное чувство, хотя страхом или трепетом это не назовешь. Обезглавленное тело курицы еще прыгало и трепыхалось несколько секунд. Я тем временем очищал нож от крови. Однажды мне пришлось пережить нечто из ряда вон выходящее: в тот миг, когда маленькое окровавленное тело еще продолжало бороться со смертью и вслепую бросалось то в одну, то в другую сторону, я вдруг увидел отрезанную голову – и ужас обуял меня: клювик птицы умер у меня на глазах, испустив последний вздох, глаза еще сверкнули на какую-то долю секунды и застыли. Страшнее всего при этом было то, - и я осознал это позднее, – что жизнь, это неделимое целое в живом теле, боролась со смертью в отсеченных друг от друга частях: в теле и голове. Тело перестало вздрагивать, голова уже не дышала – жизненная сила, изгнанная изнутри, на короткий промежуток времени обрела видимый образ, как аура, чтобы затем снова раствориться в первоначале. В этом бестелесном образе ясновидец в течение доли секунды мог бы увидеть лицо птицы. Я побледнел, руки мои затряслись. Бросив нож, я, одержимый паническим страхом, бросился бежать.

Здесь «я» натолкнулось не на свой собственный предел, а на предел другого «я». И благодаря этому обстоятельству

предел этот, а вместе с ним и страх, ощущался еще острее.

Человеческое «я» окутано непроницаемой тайной. Ничего сладостнее ощущения пределов, отделяющих собственно «я» от окружающего мира. Здесь бьет ключом первоначально Божественного. Быть может, именно поэтому «я» таит в себе опасность. Так лунатик легко одолевает горную звериную тропу и бродит по ней без тени страха и риска для своей жизни. Он бродит вслепую, побуждаемый и сдерживаемый силой притяжения луны. Но стоит вспугнуть его, как он тут же приходит в себя и падает в пропасть. Итак: «я» как предел, как грань превращается здесь в рок... Кто-то почувствовал подозрительную боль в желудке и обращается к врачу. Тот сообщает пациенту, что у него, мол, рак. Что же произошло? Как будто ничего особенного. Желудок сегодня точно так же болит, как и вчера. И все же: болезнь резко обостряется уже лишь только оттого, что осознана больным. И снова «я» выступает в роли неумолимого рока.

Может быть, «я» – космическое зло? Мы слышим предостерегающие слова Яхве, обращенные к первым людям: «Не ешьте плодов с того дерева, с дерева познания». Однако Адам и Ева не послушались его и навсегда лишили себя благ, приносимых другим деревом – деревом жизни. Неужели «я» – и в самом деле проклятие, от которого человеку следует освободиться? Люди с неизменным страхом задают себе этот горький вопрос, и многие отвечают на него утвердительно. Китаец отделяет себя от своего «я», стремясь вернуться к первоначальному. Индус воспринимает предметы как нечто иллюзорное, к чему он относит и свое «я», растворяясь в безличной нирване. Джалаледдин Руми, великий поэт и ясновидец Ирана, причитает в одном из своих стихотворений:

*Хоть смерть – всем напастям конец,
но все же жизнь пред ней трепещет.
Жизнь зрит зловещую десницу,*

*не замечая кубок светлый в ней.
Так сердце пред любовью трепещет,
Предчувствуя свою погибель.
Ибо где пробуждается любовь,
там мрачный деспот «я» хиреет.
Так дай же умереть ему в ночи
и на заре вздохни свободной грудью¹.*

Эти слова пришли к нам с Востока. «Я», индивидуальное, личное должно умереть. Здесь Восток коснулся одной из глубочайших тайн. И на Западе – правда, не так решительно и гораздо реже – отрекаются от «я». В наши дни голос покаяния звучит в учении Людвига Клагеса²: «Дух – противник души».

Как же может «я», эта невыразимая, чарующая и наиреальнейшая субстанция человека, быть проклятием? Здесь мы и в самом деле стоим перед космической тайной.

«Я» само по себе, конечно, не может быть проклятием, ибо оно есть высший дар бытия. Ведь Адам еще до того, как вкусил соблазнительного плода с дерева познания (примечательно: по грузинскому преданию, это была смоква), обладал своим «я»! Но «я» Адама не наталкивалось на разделительную грань, так как оно в блаженном полузабытьи пребывало в Божественном и посему не ведало никаких пределов. В этом, должно быть, кроется разгадка тайны.

Ничто и никто не в состоянии до конца познать Бога. Вот почему он представляется нам Невыразимым и Безымянным. И все же нам дано душой соприкоснуться с ним – в молитве. Когда мы молимся, ревностно, полностью отрехшись от своего «я», Бог представляется нам как нечто

¹ Подстрочный перевод с немецкого перевода, выполненного Ф.Рюккертом (1788-1866).

² Немецкий психолог и философ-иррационалист (1870-1956), представитель философии жизни (Прим. перев.).

самое реальное в реальной жизни. В книге «Бытия» бог называется словом «Элохим». По-древнееврейски оно означает «Боги». Странно: речь идет о Боге, а понимать следует: Боги. В сознании автора этой непостижимой книги «Бог», естественно, ассоциируется как единственный. Однако смутно он чувствует, если Бога представить неким единством, лишенным какого бы то ни было множества, то о какой жизни, которую он дарует многим и многим, может идти речь; он, Бог, есть тогда нечто абсолютно безжизненное. В закрытой монаде может существовать лишь мрак и неподвижность. Поэтому автор осторожно допускает в недрах Бога определенную множественность, для начала в имени «Элохим». Это звучит таинственно и гениально.

Есть необходимость в существовании иного. Это нужно для того, чтобы индивидуальное вообще было возможно и мыслимо. Бог есть «я» - наивысшая и глубочайшая субстанция. Однако Бог есть не только «я», он вместе с тем – и постоянно существующее «иное». Он беспрестанно творит себя из самого себя, и хотя сотворенное им и является обособлением от себя, оно представляет собой «иное» и даже чуть ли не чужеродное. В этом корень всех вещей.

Адам как существо, как творение явился выражением божественного «я» и в качестве такового не ведал никаких пределов. Пример ребенка смутно напоминает нам об этом состоянии. Человек в первые годы жизни постоянно ощущает первобытное состояние. Его «я» еще не отделено от материнского лона, от первоначальных недр, он еще не обладает четким восприятием своих пределов. Он не воспринимает пространство, и движения его устремлены в бесконечность. Потому ребенок и в смерти не ведает смерти и страха перед ней. Бывает, и взрослый возвращается в эту райскую обитель зари человеческой жизни; и чаще всего это случается во сне. В момент отчуждения от Божественного Адам почувствовал

себя голым, обнаженным, а это значит, что он лишь воспринял рамки своего бытия. Ибо чувство стыда, внушенное осознанием своей наготы, есть не что иное, как соприкосновение со своим метафизическим пределом. Сознание Адама острым жалом пронзается мыслью: его «я» может иссякнуть, погаснуть. И снова мы видим перед собой то древо познания, и снова слышим предостерегающие запретные слова. Несмотря на предостережение и запрет, первые люди вкусили плодов с древа познания, в чем, как видно, и проявился их божественный дар свободы. Но что же поледовало за этим? Люди стали плодиться, то есть другими словами - творить, воспроизводить себя в «ином» и – да не воспримет читатель это кощунством – возможно, именно поэтому оказались причастны к непрерывному творению Бога. Загадка, которая навсегда останется неразгаданной. Похоже, змей не обманывал, не обольщал Еву.

Таким образом, можно предположить, что «иное», в котором раскрывается божественное «я», проявилось в акте отчуждения первого человека от Божественного. Человеческому «я» при этом неожиданно пришлось пережить столкновение со своим метафизическим пределом. Змей и есть олицетворение этого предела, этой разделительной грани – пронизывающе холодный вал, молнией пронесшийся между бранным и Божественным миром. При виде его человек смутно чувствует свое отчуждение от Божественного и, к своему ужасу, сознает, что может обратиться в прах. Змей и в самом деле воплощает собой первородный страх человека. Вот почему он стремится либо убить его (Георгий Победоносец и дракон), либо укротить его (заклинания змей), либо поклоняться ему (культ змей, распространенный, например, в Грузии, у сванов). Змей – не просто чудовище, внушающее смертельный страх, он – мистическая рептилия. Зигфрид, возрожденный из крови дракона, понимает песни птиц и шепот деревьев,

Миндиа, согласно грузинскому преданию, вкусив мяса змеи, узнала языки всех живых существ.

Так все мы подвержены первородному страху.

Но ведь любая грань обоюдоостра. И дает она о себе знать именно там, где нас подстерегает всепоглощающая пустота, где царит дыхание Бога. Неугасимо тлеет в нас первоначало. Оно таинственно присутствует, живет во всех предметах и явлениях. Так возникает мифическое восприятие бытия, нашедшее свое выражение в непостижимой идее вечного возврата. В каждом начале живет, развивается первоначало, узреть, прочувствовать которое можно лишь сосредоточенным внутренним зрением.

Пифагор, будучи посвященным в египетские тайны, познакомил мир с идеей вечного возврата. Спустя множество столетий идея эта открылась и европейцам, однако в совершенно извращенном виде. В Европе рассказывают, что какой-то пифагорейцу сказал однажды своим ученикам: «Пройдут тысячелетия, и мы – вы и я – снова встретимся в этом зале, и я снова преподам вам идею вечного возврата, и вы снова услышите таинственные слова этого учения». Смешно? Не без этого. Но вместе с тем от слов этого пифагорейца веет какой-то демонической силой.

Эта идея целиком захватила Фридриха Ницше, когда он жил на горе Сильс-Мария. Известно его провозвещение: «Что, если однажды ночью или днем к тебе в тиши уединения подкрадется демон и скажет: «Жизнь, которую ты прожил и которую ты поддерживаешь в себе, тебе придется повторить еще раз и еще множество раз; и в жизни этой не будет ничего нового: каждую боль, и каждую радость, и каждую мысль, и каждый вздох, и все самое незначительное и самое великое в ней ты должен будешь пережить заново и каждый раз в одной и той же последовательности: и вот этого паука, и эту ночную картину с деревьями, и это мгновение, и себя самого. Вечные



песочные часы переворачиваются и текут непрерывно вместе с ними и ты – крошечная пылинка среди прочих пылинок!». Разве ты не бросишься на колени и не станешь, скрежеща зубами, проклинать сатану, заговорившего с тобой таким образом?»

Аналогично воспринял эту идею Достоевский (разговор Ивана с чертом). Идея вечного возврата была для Ницше, уже охваченного безумием, последним и высшим откровением. Достоевскому же подобная «вечность» казалась скукой «закоптелой бани с пауками по углам» (Свидригайлов). Примечательно, что в представлении и того, и другого появляется образ паука.

Такое понимание вечного возврата в корне неверно. Не частное вечно возвращается к себе, а вечное в частном, то есть первоначало. Это и есть первоначальный миф, миф обо всем, что происходит на Земле. Но как охватить, как постичь эту великую истину? Лишь в предметно-созерцательном мышлении. Однако дар проникновения в суть вещей посредством созерцания первоначального мифа уже давно утрачен, а убийственно холодные понятия, пришедшие на смену этому дару, в данном случае совершенно бессильны. К счастью, на Западе в этом отношении имеется величайшее исключение – Гёте. Он представляется мне живым воплощением счастливого всемирно-исторического синтеза Востока и Запада. В нем полнокровно сохранилось и проявилось предметно-созерцательное мышление. Предметы и явления он воспринимает чисто мифологически. Его теория перворастения, эта гениальнейшая догадка Европы, может послужить нам наглядным символом первоначального мифа о вечном возврате.

Как пришел Гёте к идее перворастения? Он постоянно стремился «подвести друг к другу начала и концы явлений». Уже в этом проявилась его западно-восточная сущность. Ибо,

если при западной манере созерцания явления рассматриваются как бы «вперед» (на Западе спрашивают: «куда?»), то Восток созерцает «назад», двигаясь к первоистoku (на Востоке спрашивают: «откуда?»).

Шаг за шагом Гёте постигает таинственный феномен роста. Небезынтересно проследить, как он исследует растения в Итальянском саду в Падуе в сентябре 1783 года - с каким благоговением, с каким вниманием и целомудрием! Я бы добавил - с космически открытым сердцем, с той догадкой ясновидца, что природа, не боясь быть ущербленной созерцателем, раскроет свои тайны именно его сердцу. Гёте рассматривает *Cactus opuntia* или *Acanthus mollis* так, словно трепетно прикасается к сокровенной тайне природы. Срезанные листья вееровой пальмы лежат перед ним, и он разглядывает их как фетиши. В каждом листочке ему видится подлинный Протей.

«Если, рассматривая растение, заглянуть вперед и оглянуться назад, то оно представляется лишь как лист», - пишет он Гердеру 17 июня 1787 года. «Нечто цельное, неразделимое продолжает свой рост в растении», - догадывается он далее. И как наитие - каждой части растения в отдельности представлена возможность развить все растение целиком. Это, по-видимому, означает прежде всего то, что каждая часть содержит целое. Так мыслит Гёте. Он постоянно настаивает на этой возможности познания и только на ней, предвосхищая в совокупности все то, что со временем разовьется шаг за шагом. В своем исследовании он повествует: «Мне становилось с каждым днем все яснее, что созерцание можно оживить, подняв его на более высокую ступень, - требование, которое зрело во мне тогда в чувственной форме сверхчувственного первообразования. Я следовал за всеми вегетациями, как они представлялись моему воображению, в их метаморфозе. И вот в конце моего путешествия, в Сицилии, мне стала вдруг

совершенно ясна первоначальная идентичность всех растений, и я всюду стремился следовать за ней и не упускать ее из виду».

Итак, прототип растения, то есть перворащение – величайший поэтический образ Европы – найден и осмыслен. Словно дитя Божье, пишет он с просветленным задором Гердеру в уже упомянутом письме:

«Перворащение становится прелюбопытнейшим созданием на Земле – в чем сама природа может мне позавидовать». И в самом деле, природе есть чему завидовать созерцателю тайн, ибо здесь, в этом беспрецедентном видении она, незрячая, обрела зрение.

Здесь уместно вспомнить и о первой встрече Гёте с Шиллером. Гёте рассказал Шиллеру о метаморфозе растений и несколькими характерными штрихами обрисовал символическое растение. Кантианец Шиллер покачал головой и сказал: «Это – не опыт, это – идея». Гёте превосходно парирует: «Весьма лестно слышать, что у меня есть идеи и что я даже вижу их собственными глазами». Итак, два мира, два вида созерцания.

Благодаря идее перворащения неожиданно решаются все самые важные проблемы. Впервые в истории человечества бытие глазами природы раз и навсегда представлено в образе мифической реальности. Реальное растение следует воспринимать лишь в каком-то одном отрезке времени: либо в зародыше, либо в созревании, либо в цветении. Перворащение же дано окончательно и полностью даже в процессе роста – от зародыша вплоть до цветка. В каждой фазе реального растения оно присутствует всей силой своей формообразующей воли. Итак, перворащение – мифическая реальность, не единственный исторический факт, а космическое событие, происходящее постоянно. Так Прометей по сей день похищает огонь у богов. Перворащение есть чувственно-уплотненный

образ мифа. Обладая растение сознанием, оно в свои счастливейшие мгновения ощущало бы состояние постоянного возврата к самому себе.

В каждом начале дремлет первоначало, а вечное формируется в частном. Частное, испытывая на себе оплодотворяющее действие вечного, причащается к этому вечному. Тогда обоюдоострая, смертельная грань уже не представит для него роковой опасности, и его «я», натолкнувшись на свой метафизический предел, может быть спасено.

Таким образом, живое постижение мифической реальности, приобщение к ней, представляется нам единственно верным способом преодоления первородного страха.

ЧУВСТВО ЖИЗНИ НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ

Скалы вокруг – разбросанные ребра доисторического мамонта. Одни обрывисты, другие пологи, третьи плоски или выпуклы. Эролиты, монолиты... Нагие призраки пирамид, пещер, саркофагов. Что это? Разгул фантазии какого-нибудь фараона, или рассыпавшийся и затем окаменевший жар солнца? И всюду обилие красок: лист касатика, лист ореха, альпийская роза, папоротник, гвоздика, вишня, хна, бронза, железо, сланец, галька, мед, хвито – волшебный камень, называемый еще оком солнца, - все эти цвета мерцают во всевозможных и невероятных, фантастических переливах. Они то сливаются с базальтом скал, то бархатом простираются вдоль подъемов, уклонов, откосов; иные из них радугой легли между скалами и расселинами. Сразу же бросается в глаза: мох и гвоздика состояются между собой. Гвоздика одерживает верх. Присмотревшись, замечаешь: а вот сланец и хвито вступили в единоборство. Побеждает хвито. В конце концов создается впечатление, что бесчисленные древесные лягушки и пестрые павлины лежат повсюду с раскинутыми хвостами, или же это мерцающее тело дракона, покрытое пятнами цвета кизила; и все вместе – языки солнечного пламени, застывшие в виде благородных камней.

Солнце палит. Караван на мгновение замирает. Похоже, солнце остановилось?! Вот такую тишину взрывает Пан, с криком прорываясь сквозь зной. Здесь реальность как бы удваивается, а вместе с ней – и ее созерцатель. Время стоит.

Настоящее меркнет. Остается лишь прошлое. Будущее изредка вспыхивает как мысль, последняя же – словно воспоминание о грезе. Все зримое – лишь тень прошлого, лишь жгучее тавро минувшего. Преданные забвению, дремлют здесь давно минувшие события – словно астральные тени с унылыми ликами, замутненным, гневным взором, обращенным вовнутрь.

Дорога тянется вдоль гранитной скалы, отбрасывающей гигантскую тень. Тут же – река, почти высохшая. Не дракон ли выпил ее? Там виднеются озерца, похожие на тусклые, слепнущие глаза. На другом берегу – снова гиганты: толстобрюхие каменные Левиафаны, дремлющие, удовлетворившие свою страсть, изможденные от похоти. Они лежат, кто вытянувшись, кто скрючившись.

Полдень. По-видимому, только что пробежал козлоногий бог. Не слышно ни жужжания мухи, ни шелеста листьев: впрочем вокруг ни дерева, ни кустика, ни травинки. Верблюды укладываются на покой. Их примеру следуют погонщики. Караван отдыхает в гигантской тени скалы. Неуклюжие тела верблюдов сливаются со скалами и валунами, образуя их продолжение. Химерические верблюжьи головы смотрят человеческими глазами. Кажется, будто это камни, созерцающие из неизмеримой дали! Головы кивают. Тихий шорох. Головы приходят в движение, словно шлемы, плывущие по воде. Затем головы химер прислоняются друг к другу и колышутся будто колосья на легком ветру... Так отара овец на речном острове ищет в тени ясеней спасение от палящих лучей полуденного солнца.

В глазах овец – страх: не чувствует ли отара приближение орла или коршуна?.. Из глубины мрачной тени смотрят на скалы беспокойные глаза верблюдов. Кого боятся они?.. Неподалеку погонщик неподвижно уставился вдаль. Что видит он? Ничего. Может быть, к чему-то прислушивается? Но ведь вокруг ни

шороха! И все же он слышит что-то. Чует дыхание вечности: творит молитву...

Эти картины взяты из моего романа «Змеиная кожа». Так выглядит ландшафт Иранского нагорья. Но то же самое можно сказать о любой другой стране или области на Востоке. Каждый предмет, каждое существо здесь погружено в себя самого, словно дышит дыханием Творения. Все здесь пронизано первозданностью. Все дышит покоем – каждая глыба, каждый ком земли. Земля на Востоке – нечто большее, нежели просто материя: она – космическое существо, в дыхании которого дремлет миф. Человек на фоне такого ландшафта – маленькое, крошечное создание. Природа здесь не подвластна человеческому измерению. Время на Востоке не течет, оно величественно застыло в пространстве; и мгновение содержит в себе вечность, как морская раковина хранит в себе рокот давно отхлынувших волн.

Теперь обратим взор на Запад. И здесь, конечно же, немало прекрасных, пленяющих душу пейзажей. Они, правда, близки человеку, и в них почти не ощущается дыхание Творения. Оторванные от Творца, они, с чисто человеческой точки зрения, обладают своим собственным дыханием. Земля здесь – только и только материя и зачастую, пожалуй, – лишь почва, которую обрабатывают, за которой ухаживают. На всем здесь лежит печать человеческих рук, нигде не найти нетронутых, заповедных мест. Ни тотема, ни табу. Мифическое предостережение о том, что хотя бы малая часть территории должна остаться неприкосновенной, дабы Земля не утратила своего космического дыхания, почти никем на Западе не принимается во внимание. Так и кажется, что человек здесь делом рук своих вознамерился заменить Божий Промысел. Красивые и четко очерченные контуры западных ландшафтов будят лишь эстетическое чувство. Все здесь пребывает в бурном росте, в пышном цветении. Недостает шири, простора.



Нельзя не заметить размаха человеческой деятельности; однако даже во время перерывов в этой деятельности нет ощущения тишины. Повсюду видишь причудливо разграниченные, разбитые на ландшафты фигуры. Но взор созерцателя постоянно во что-то упирается, ему недостает необъятности. Каждый предмет, каждое существо стремится наружу. Пространство на Западе не в состоянии сохранить величественную ширь: оно просто растворяется во времени; и мгновение здесь не дышит ароматом вечности, ибо здесь оно – не более чем единица времени, измеряемая часами. Оно лишено протяжения.

Вот так Восток и Запад представляют собой два отличных друг от друга мира – и не только в географическом отношении, но и, пользуясь удачным выражением русского мыслителя Чаадаева, - в самом порядке вещей.

Если в качестве символа взять внутреннее напряжение между растением и перворастиением, то следует отметить, что в бытии Востока упор делается на перворастиение, в то время как в бытии Запада на переднем плане – само растение. Восток растворяет свою суть, свое «я» в первоначале: для него любое начало есть первоначало. Запад же развивается в личностную монаду, и начало почти всегда означает для него единственно возможное новое начало. Китаец стремится расти в обратную сторону: не от зародыша к цветку, а наоборот – от цветка к зародышу. Когда в полудреме едешь в машине, кажется, будто движешься назад. Вот этому кажущемуся обратному движению подобен возвратный рост китайца. «В действии бездействовать», - таинственно провозглашают древние китайские мудрецы, что означает: внешне отдаваться течению событий, в душе оставаясь в рамках первоначального «я». Даже семенем, обладающим творческой способностью, по глубокому убеждению китайцев, следует повелевать в обратном порядке. Иными словами, его надо распалить и хранить в себе его самовоспроизводящую потенцию. «Когда семя преобразено,

тело свежо и свободно», - говорится в загадочной книге «Тайна золотого цветка». Легенда повествует о том, как мастер-Понг, «касавшийся» таким образом своих девушек-служанок, прожил 880 лет. Человеку западного склада ума это кажется непостижимым.

Восток дышит первоначалом. В первоначале же все предметы составляют единое целое. «Тат твам ази» (это – ты) – говорили древние индусы: все, что ты видишь, есть ты сам. Грани между предметами стерты. Все, что воплощается, лишь майя, светлая иллюзия. Для Запада каждое явление само по себе не только иллюзия, оно – прежде всего форма, образ того, что является. Любая вещь, любой предмет обладает здесь обязательной для всех собственной реальностью. Отсюда необычная ясность видения на Западе: все вещи представляются здесь в определенных, четких очертаниях, в то время как Восток воспринимает их неопределенно, расплывчато.

Это различие ярче всего проявляется в творчестве обоих миров. Погруженному в Безграничное, восточному миру несвойственно создавать завершенные произведения, ибо «завершить» означает «ограничить» определенными рамками. Готические кафедральные соборы просто невозможно себе представить на Востоке. Запад знает толк в пределах. Исходя из этого знания, здесь создаются такие законченные произведения искусства, как например, «Божественная комедия». Подобные произведения представляют собой мир в себе, мир Конечного. Зато Восток обладает тем, чего почти лишен Запад: инспирированное непосредственно Безграничным, восточное произведение несет в себе дыхание вечности. Таковы вавилонские эпосы.

Есть еще одна особенность жизни на Востоке, которая резче других противопоставляет ее западному бытию. Европейец, попавший на Восток, никак не может понять, почему, например, в Иране никто не в состоянии по-деловому,

достоверно передать суть того или иного происшествия. Может быть, это объясняется лукавством или лживостью восточного человека? Отнюдь нет. В сознании восточного человека предметы сливаются друг с другом в туманные, иллюзорные образы, и каждый факт у него обрастает вымыслом. Поэзия и правда, вымысел и реальность на Востоке суть одно и то же. Я припоминаю, как один мой друг в Грузии, человек с ярко выраженным восточным складом ума, в моем присутствии, рассказал обо мне в обществе нечто такое, чего в действительности со мной не происходило. Я, конечно, понимал, возражать ему не имело смысла. Рассказчик настолько далеко зашел в своей фантазии, что мне оставалось лишь едва заметно усмехаться в ответ на его веселые выдумки.

Европеец по имени Лео Маттиас, потрясенный случаем, подобным только что рассказаному мной, пишет в своей книге путешествий «Восточные очерки» следующее:

«Это было в Йезде. Мой друг Чарльз Хамфри только что получил партию ковров. Он поручил сосчитать их своему конторскому служащему Али. Ковров оказалось довольно много, и Али потребовалось немало времени, чтобы установить их количество. Мой друг спешил – у него было еще какое-то дело за городом, и он попросил меня заменить его в конторе на время его отсутствия.

- Ну, сколько всего осталось ковров? – спросил я Али, когда он, наконец, вернулся.

- Четыреста или пятьсот, - ответил он неопределенно.

К удивлению Али, его информация меня ни в коей мере не удовлетворила. Я настойчиво, хотя и вполне вежливо потребовал, чтобы Али дал мне более точные сведения.

И Али снова исчез.

День уже клонился к вечеру, когда Али вернулся. Он привел с собой второго конторского служащего, своего друга Хусаина.



- Итак, сколько же ковров ты насчитал? – спросил я Али.

- Их было всего триста или триста пятьдесят...

Я вконец рассердился на Али.

- Послушай, болван, - сказал я ему, - тебе велено было сосчитать точно! – Тут я обратился к Хусаину, может быть, он установит, сколько ковров в этой партии.

- Не знаю, - ответил Хусаин, - но их, кажется, примерно 170 штук.

Я обрадовался, получив, наконец, хоть какой-то вразумительный ответ, и, отослав Али, поручил Хусаину сосчитать ковры.

- Надеюсь, ты поймешь меня, Хусаин. Ты должен взять в руки каждый ковер и так все пересчитать. – И чтобы втолковать ему суть поручения, я сорвал несколько листков со старого календаря и стал считать, бросая их один за другим на стол.

- Раз-два-три-четыре... и т.д. Понятно?

Хусаин кивнул головой.

Тем временем мой друг вернулся, и я сообщил ему о происшедшем в его отсутствие. Он рассмеялся и обозвал Али олухом. Я, мол, правильно сделал, что перепоручил это дело Хусаину.

Через несколько часов – это было незадолго до закрытия конторы – Хусаин вернулся с горделивым видом.

- Так сколько оказалось ковров в партии? – спросил я его.

Хусаин, улыбаясь, ответил:

- Я насчитал 145, господин.

Не могу объяснить, почему, несмотря на такой, казалось бы точный ответ, я ему не поверил. И спросил его:

- До какого числа ты считал, Хусаин?

- До 130, - ответил тот. – Осталось всего около пятнадцати...»

В сознании восточного человека рост растения происхо-

дит в обратном направлении, - к первоначальному. В недрах его бытия тлеет зерно мифа. Собственно же растение распускается в нем медленно, порой даже кажется, что оно вот-вот зачахнет. Весь Восток расплывается в полумраке, и ему неизвестны четкие контуры. Отсюда неподвижность, растворенная в вечности, взгляд, обращенный вовнутрь, величественный покой, царственность неподвижного великолепия во всем – в людях и ландшафте.

На Западе все не так. В бытии западного человека доминирует растение, личность. Первоисточник, первоначало с каждым днем иссякает, убывает в нем. Его взгляд обращен наружу; и покой неведом ему. Если восточный человек лучше всего проявляет себя в самопогружении, то человек Запада – весь в стремлении. На Востоке – мастер Понг, на Западе – Фауст.

На Востоке опьянение переносится сдержанно, внутри себя; и чем оно сильнее, тем сдержаннее наслаждение им. На Западе же опьянение протекает в динамике, по восходящей линии, и наслаждение выражается бурной радостью. Восточный человек видит Бога закрытыми глазами, уходя в глубину, где все чувства обострены до звериной чуткости, где они, взаимодействуя, выливаются в новое чувство. Западный же человек видит Бога открытыми глазами и, кажется, даже пытается осязать его. Внутреннее зрение восточных мистиков – скорее мысленное погружение, нежели реальное, переживаемое состояние. Это различие можно проследить вплоть до опьянения любовью: на Востоке, где внутренняя близость ставится выше внешней, соблазн, связанный с обнаженным телом, не велик. Человек на Востоке живет, постоянно погружаясь в самого себя, благодаря чему он как бы пребывает в беспробудной дреме – и не только в физическом плане. Западный человек, беспрестанно куда-то устремленный, почти непрерывно бодрствующий, страдает

бессонницей – и в метафизическом смысле. Дурман – опиум, вызывающий грезы; на Западе – никотин, поднимающий бодрость...

Погруженный в первоначало, восточный человек постоянно пребывает в глубоких, фантастических грезах. Он никогда не выходит из созерцательного состояния, и инертность перерастает в сонливость, последняя же нередко внешне граничит с идиотизмом. Но вот что примечательно: даже отсутствующий вид и тупой взгляд восточного человека таят звериную хитрость. Каким бы умным и искусным ни был европеец, он не хитер и не в состоянии перехитрить восточного человека, будь он даже многоопытный дипломат.

На Востоке говорят: «Тат твам ази», стирая тем самым все грани между вещами и уходя в сладкую нирвану. На Западе вторгаются в суть вещей, проецируя «я» на окружающую среду. На Востоке вопрошают: «Откуда?» и долго, не спеша, ждут ответа. На Западе спрашивают: «Куда?» и суетятся и неистовствуют в ожидании незамедлительного ответа. У восточных людей почти всегда есть время. На Западе же его дефицит. В Апокалипсисе сказано, что у сатаны мало времени. (Конечно, это следует понимать лишь как предостережение).

Параллели можно было бы продолжать до бесконечности. Но хотелось бы остановиться на том, как в этих совершенно различных мирах преодолевается первородный страх.

Вовлеченное в поле напряжения, создаваемое двумя полюсами – Богом и Пустотой, - человеческое существо то и дело наталкивается на свой метафизический предел. Неожиданно лишенное всех своих сил, оно оказывается перед зевом Пустоты (Ничто), и его поражает первородный страх. Человек на Востоке освобождается от оков своего «я» спокойно, в полузабытьи уходя в первоначало. Он распыляет свое «я», чтобы нейтрализовать этот смертельно опасный предел, ибо

без «я» нет и предела. Он приближается к первоначалу, но не вполне постигает его – в теперешнем состоянии космоса это, пожалуй, и невозможно, - и останавливается на пороге потерянного рая, всей душой в тоске устремившись к нему. Печать этой тоски лежит на Востоке на всем, как печать некоего томления, зачастую перерастающего в меланхолию. Тоска эта сквозит в пронизанных солнцем равнинах, в самих пластах земли; она слышится в монотонных, унылых песнях, ощущается в тягучей поступи караванов; ее можно увидеть в печальных глазах верблюдов, словом - во всем. Бытие здесь исполнено неким подобием метафизической ностальгии.

А как в этом отношении обстоит дело на Западе? Здесь первородный страх преодолевается иначе. Западный человек не умаляет своего «я», а, наоборот, все более распространяет его действие на окружающую среду, благодаря чему оно все больше конкретизируется, материализуется, становясь таким образом все менее восприимчивым к ощущению боли. Разделяющий предел постоянно отодвигается благодаря бесконечному расширению «я». Первородный страх кажется таким образом преодоленным. Однако расширение «я» есть в сущности не что иное, как эгоизм, а стремление материализовать его - лишь самообольщение. «Я» во всяком случае остается на месте, даже будучи в крайне стесненной форме. А что происходит с пределом? Он, конечно, не стирается, он просто отодвигается. Но до каких пор можно его отодвигать? Когда-нибудь «я» так или иначе столкнется с ним. Тогда страх еще беспощаднее возьмет его в свои тиски... Представим себе среднего американца. Он живет в Нью-Йорке, скажем, на 77 этаже, в маленькой квартирке. Вот уже много лет он не видит ни животных, ни деревьев, не дышит ароматом листьев. Все происходящее вокруг него никак не касается его внутренней жизни: ближние для него всего лишьдвигающиеся тела, сосед по такой же камерке не более чем



пронумерованный призрак. К тысячам вещей у него чисто внешнее отношение и ни к одной из них нет привязанности. Вместо чувств у него рефлексy, вместо органической пищи – пилюли и препараты. Ни дать ни взять гладко выбритый Голем с гальванизированным взглядом! Он сливается с вещами, все более превращаясь в канцелярско-технический предмет. Он уже не в состоянии ощутить какую бы то ни было грань или предел. Может быть, ему уже не грозит первородный страх? Напротив. Ведь он все еще человек. При малейшей заминке, просчете или коротком замыкании он тут же освобождается от всех вещей, оголяется. Лишенный корней, утративший реальность, он оказывается один на один со своим «я» в страшном одиночестве. (В соседней комнате, возможно, еще гремит шлягер). Перед ним разверзается жуткое всепоглощающее Ничто. К своему ужасу он, веруя, осознает, что испускает последний вздох, который вот-вот сольется с дыханием Бога. Лишь теперь он ощущает, что перворастиение иссякло в нем, и зияющая перед ним Бездна ужасна. Она готова поглотить его. Одинокй, беспомощный, ползает он по полу своей каморки, все более напоминающей гроб. Ощущение своего «я» тошнотворно; все окружающее кажется теперь ему не менее омерзительным.

Если это случается днем, огромный город перед ним – как на ладони. Ночью же он окунается в фантастический мир огней; и все равно это мертвец, на разлагающемся теле которого продолжают расти волосы.

Так завершается эта борьба. Себялюбие здесь оборачивается бегством от самого себя. Но и это не спасает. Ежесекундно человека здесь подстерегает зияющая пасть Ничто.

Запад и Восток – два мира, вернее, два рода бытия. То, чего недостает одному, есть в избытке у другого. Они полярны по своей сути. Однако это не значит, что миры эти – взаимоисключающие понятия. Построенные по законам



космоса, они даже обуславливают друг друга. Запад романтически тоскует по Востоку, а Восток с надеждой устремляет свой взор на Запад. Нет ничего ошибочнее широко распространенного мнения о том, что всякое благо и спасение идет с Востока. Западное бытие метафизически так же оправдано, как и восточное. Чем было бы первоначало без начала? Лишь закоснелостью. Что являл бы собой первоначальный лик без лица? Не более, чем зародыш. Перворастение лишь в растении обретает живое воплощение. Единственный, неповторимый лик так же божественен, как и вечный, бесконечный. Если дыхание первоначала идет с Востока, то именно на Западе оно обретает плоть и кровь. Эти миры призваны оплодотворять друг друга. Односторонность каждого из них чревата опасностью, которая преодолевается другим, полярным миром. Это наглядно подтверждается той проблемой, которая оказалась роковой для человечества, - проблемой техники.

Техника принадлежит Западу. Она – его волшебная сила, способная в случае ее неправильного применения обернуться пагубой. С помощью сжатого воздуха и электричества можно достичь невиданных результатов, но и они не заменят человеку мистического прикосновения к вещам. Искушение, однако, есть, и никто не может быть уверен, что человечество когда-нибудь не проявит эту слабость.

Рассказывают, как молодой человек, вернувшись из поездки, не застал своей возлюбленной в живых. Горе его усугублялось тем, что он лишен был возможности избавить возлюбленную от мучившей ее ревности. В жизни человека немало ничтожных обстоятельств, пустяков – ведь дьявол оперирует в основном пустяками, - имеющих роковые последствия. Особенно, когда «пустяки» касаются отношений между двумя любящими. Так случилось и на сей раз. Может быть, клочок бумаги – сущий пустяк, но именно он дал ей



повод усомниться в верности возлюбленного, думать, что он изменил ей. Это было лишь предположение, но – тем хуже, возможно. Мужчина безмерно страдал. Демоническое желание вступить с ней в контакт неудержимо овладевало им. Однако ни одно из средств – даже магическое – не приводило к желанной цели. Однажды вечером опечаленный, сидел он перед камином, в котором тихо догорал огонь. Он думал о своей возлюбленной. Вдруг взгляд его упал на какой-то ящик в углу комнаты, и соблазнительная мысль появилась в его разгоряченном мозгу. В ящике лежит кинолента, на которой когда-то запечатлели его возлюбленную. Он начинает прокручивать эту ленту. Наконец, он видит ее, почти осязает, он заклинает ее не оставлять его. Она кажется ему живой, он почти овладевает ею. Но тут жужжание киноаппарата резко обрывается. С белого полотна экрана на него глядит жуткая пустота. Молодой человек падает ниц, охваченный безумием.

Мы видим: у последней черты техника утрачивает свою волшебную силу. Более того, она превращается в смертельно опасное орудие. Человеку Востока эта опасность едва ли грозит, так как он, не являясь изобретателем этой техники, всем своим существом постиг ее сущность.

Восточное предание гласит: однажды Энос спросил своего отца, кто был отцом Адама, и получил следующий ответ: Бог сделал Адама из глины. Тогда Энос взял ком земли и слепил из него подобие человека. Затем по примеру Элохима вдохнул свое дыхание в глиняного человечка. И что же? Фигурка ожила, но из нее получился не человек, а некое чудовище, обладающее демонической силой. В этом предании удивительно верно схвачена роковая сущность техники. Первые люди, обрабатывая землю, тоже, конечно, в определенной степени использовали технику, но урожай, который они снимали, не приносил им несчастья. Лишь после того, как Энос, как некогда Бог, вдохнул свое дыхание в

глиняную человеческую фигурку, то есть поставил себя на место Бога, людей постигло несчастье.

Сама по себе техника еще не беда. Вот когда человек, создавая что-то, забывает, что сам он – часть Творения, дитя Творца, то искушение и вытекающие отсюда опасности не заставят себя ждать.

Возьмем в качестве примера мифического Линдберга¹. Он любит свой самолет, как какой-нибудь шейх любит любимой, породистой лошадей. С почти нежной озабоченностью проверяет все детали машины. Затем молча, покорившись судьбе, садится за штурвал. Постепенно тело его срастается с самолетом, он чувствует прилив неведомых сил. Летит, уверенный в себе – новоявленный Дедал – через Атлантический океан. Силы, которые он вызвал к жизни, постепенно пронизывают его. И вот в полугипнотическом состоянии он уже сам являет собой такую силу – фантастическая сомнамбула, в сознании которой бодрствует одна-единственная молекула. Именно она и управляет теперь самолетом и им самим. Он потерял себя, свое «я». Но в то же время «я» это разрослось, как никогда – своеобразный атом, вобравший в себя всю солнечную систему. Опыренный, слепо, фанатично веруя в новые силы, летит он над океаном. Разве это не величественное, не потрясающее зрелище, оправдывающее человеческое существование?.. Но именно здесь, его, летчика, подстерегает самая страшная опасность – гордыня. Он летит, он – триумфатор, опыренный победой. Еще одно люциферическое мгновение, сладостное и обольстительное, и вот уже опьянение переходит в самоупоеание. Кто устоит перед этим дурманом? Кто совладеет с ним? И тут наступает фатальная метаморфоза: триумфатор вдруг превра-

¹ Линдберг Чарльз (1902-1974), американский летчик. В 1927 году совершил первый беспосадочный полет через Атлантический океан. (Прим. пер.).

щается в искусителя, бросающего вызов судьбе. Проходит несколько мгновений, еще более упоительных и соблазнительных – и в воспаленном мозгу летчика вспыхивает отчаянная мысль: это удалось ему, лишь ему одному на целом свете. И вот уже искуситель судьбы – отступник. В тот же миг рвутся нити, связывающие его с космическими силами. Атом, вобравший в себя всю солнечную систему, оказывается вдруг полым и рассыпается в прах.

Кто не испытывал подобного демонического упоения? Оно ведомо каждому поэту в состоянии вдохновения; каждому пророку, зрящему трансцендентное; каждому полководцу, принимающему на поле брани судьбоносное решение. Оно ведомо каждому вождю племени, сосредоточившему в себе волю всего клана. Блажен всякий, кто находит в себе силы устоять перед этим великим соблазном. Благословенная связь между человеком и космосом тогда не нарушается. Но кто же способен на такое? Лишь тот, кто благоговейно хранит и пестует в своей душе первоначало.

И если западный человек, ежедневно и ежечасно подвергающийся смертельной опасности под действием технического прогресса, все же не становится его жертвой, то только потому, что его спасают как раз восточные силы, близкие к первоначалу.

ГРЕТА ГАРБО – ЗАВЕТНЫЙ ОБРАЗ НАШИХ ДНЕЙ

Многие, по-видимому, испытывали нечто подобное: поезд мчит тебя, погруженного в грезы, по пустынной земле. Полночный час. В твоём купе почему-то нет ни одного спутника. В полузабытьи ты грезишь о чём-то, отрешившись от всех будничных забот и тревог. На какой-то станции поезд останавливается. Через несколько секунд открывается дверь, и появляется незнакомка. Она не спеша садится, ставит рядом с собой на сиденье небольшой чемодан и затем спокойно кладет на него правую руку. Женщина не то чтобы очень красива, но что-то есть в ней такое, что в глубине души не оставляет мужчин равнодушными. Она держится уверенно, но не подчеркивает это. Взор её безучастен. Она лишь один раз встречается с мужчиной взглядом - недоуменным и почти вызывающим - и тут же отворачивается от него.

Мужчина поражен её притягательной силой, ослеплен ею. Возникает напряжение между мужчиной и женщиной, судьбы которых доселе ещё не соприкасались. Воздух словно пропитан неким неосвязаемым веществом. Кто она, эта женщина? Какая судьба уготована ей? Каждый вопрос рождает пронзительную тоску, и остается лишь строить домыслы, молча, тайком. В душе появляются смутные догадки, одна за другой, но ты боишься их подтверждения. Незнакомка продолжает сидеть невозмутимо, и эта невозмутимость сродни покою пшеничного поля, в котором ни один колос не



шелохнется. И тем не менее мужчине кажется, будто он слышит ток крови в ее венах. Он очарован. Он, правда, видит ее насквозь, видит всем нутром своим, и все же не в состоянии произнести ни слова. Женщине передается его смущение, и она упивается сознанием своего превосходства. И вот мужчина начинает совершать неуклюжие движения: зажигает спичку, нервно закуривает, берет в руки уже прочитанный им иллюстрированный журнал, перелистывает его, то и дело украдкой бросая взгляд на незнакомку. Все напрасно – она ничем не выдает себя. Так проходит несколько часов. И вот как ни в чем не бывало она выходит из вагона на своей станции. Смотрит мужчине в глаза – во второй и последний раз и просияв на мгновение, исчезает, как несбыточная мечта. Мужчина ловит воздух руками, пытаясь догнать уплывающий от него образ, чувствуя всем своим существом, что женщина унесла с собой свет своей души, подобный сиянию ауры. Он снова оказывается в одиночестве. Но не успев прийти в себя, слышит шелест платья загадочного существа. Вдруг взгляд его падает на забытую ею перчатку, он пристально разглядывает ее, как отпечаток призрачной руки на кофейной гуще во время спиритического сеанса. Смотрит неподвижно, будто во сне.

Что, собственно, произошло? Ничего. И все же что-то случилось. Этот образ будет теперь сопровождать его до смертного одра.

В вибрациях подобных явлений проявляется реальная действительность. Художественно воплотить эти вибрации – вот в чем миссия поэта. Для тех или иных своих грез поэт находит внутренний язык, затем осторожно, бережно чеканит из них словесные образы, не отпугивая и ничем не ущемляя их. Еще более трудная задача состоит в том, чтобы как можно материальнее воплотить эти грезы, ибо вибрациям, о которых идет речь, чужды весомость и осязаемость. Вот почему подлинная живопись есть реальная магия. Поэтому мы как



некое чудо воспринимаем картину Рембрандта «Яков благословляет внуков». Библейский дух смены поколений передан здесь в незрячих глазах и в пророчески благословляющей ошупью руке старца. И все это – вполне материально. На освещенном фоне невидимыми волнами еще колышется дух древности. Аромат тысячелетий нашел на этом полотне материальное воплощение. Его изображение можно «пересказать». Но тогда это было бы лишь предание. На полотне же непосредственно схвачена сама реальность.

Мы смотрим на картину и как бы живем в ней. Первобытный дух сообщается настоящему, и в результате торжествует вечное сегодня – бытие в Божественном.

Все расы и народы воплощают в себе это непередаваемое, пьянящее дыхание жизни на свой лад и в меру своих сил в каком-нибудь образе – большей частью в женском, ибо женщина, как материнское лоно оплодотворенной солнцем земли, всегда являет собой одновременно и воспринимающее, и созидающее начало. Может быть, поэтому женщина глубже и подлиннее, нежели мужчина, выражает сокровенное начало своего народа. Лишь благодаря женщине чужестранец в состоянии постичь душу другого народа. Глядя на прекрасную царицу Нефертити, чувствуешь, как во всей своей волшебной красоте и силе Изиды перед тобой расстилается огромная Нильская равнина страны фараонов. Так же действуют на нас чары Уты фон Наумбург: в нордической ясности ее плодотворной теплоты глубоко коренится внутренняя сила германского духа. В таких образах великие эпохи стремятся выразить себя наилучшим образом. В них продолжает жить и воздействовать на нас минувшее.

Каждое время характеризуется своим неповторимым очарованием, своей амплитудой восприимчивости. Каждое время порождает свой собственный заветный образ, мечту, она формируется в нем, развивается. Такой образ родился и в наши дни.

Восприимчивость народа определяется его отношением к какому-либо экстраординарному явлению данной эпохи. Когда люди полностью находятся во власти времени, они уподобляются зверям, растениям, камням. Когда же они стремятся растворить время в безвременном, то перед ними открываются два пути. Первый – время преодолевается в обратном направлении с помощью внутреннего созерцания, в состоянии полузабытья. При этом происходит рост в сторону первоначала. Это путь древних китайцев: «бездействие в действии», а также путь древних индусов: «все, что явлено нам во времени, есть лишь майя, иллюзия света». Это, наконец, и путь христианских и других аскетов: «земля – сосуд дьявола». Второй путь – время преодолевается в движении вперед, с помощью волевых действий. Движение сокращает отрезки времени, как бы лишает их реального плана. Этот последний путь, судя по всему, избран нашей эпохой.

Современный человек покоряет время благодаря скорости. Машины позволяют ему преодолеть сто и более километров в час, а самолеты – и того более. С помощью радиоволн его голос в течение доли секунды огибает земной шар. В мгновении он стремится полностью, без остатка реализовать себя, приостановить течение времени, создавая некую иллюзию абсолютного настоящего. Основным средством, которым он при этом пользуется, является машина. Однако машина оказывает на него и обратное воздействие, вызывая в нем новый вид чувствования. Так, например, исследователю психики автогонщика известно, что тот вызывает к жизни страшные силы, которые заставляют работать на себя. Он полностью овладевает ими. Развивая бешеную скорость, он поглощает пространство, чудовищно сокращая время. Скорость – вот чем одержим современный человек. Что же касается преодоленного им расстояния, фрагментов ландшафта, застывших мгновений, то они его не занимают.

Сознание его гасит любое представление о времени, предвкушает вневременное или сверхвременное. Пока еще, правда, он не достиг его, но сама возможность достижения уже зарождается, уже тлеет в нем. Напряжение при этом так велико, что возможность эта мнится ему почти осуществившейся и предвкушается им как нечто состоявшееся, как реальность. В полузабытьи он наслаждается вневременным настоящим: новоявленный мистик, столкнувшийся с пустотой.

В предвкушении этой возможности как раз и проявляется исключительная восприимчивость современного человека. Каждый, кто живет в эпоху технического прогресса, обретает эту восприимчивость в виде нежной мембраны – кто менее, кто более тонкой.

Страшную, зловещую силу вызывает к жизни человек с помощью техники. Однако силе этой несвойственны ни рост, ни созревание. Дерево растет, цветок зреет – электрический ток же не растет и не зреет, он просто есть, но не как предмет, а как напряжение само по себе. Гомо техникус, приводящий эту силу в действие, использующий ее, испытывает на себе ее обратное воздействие: и вот уже он и сам не растет и не зреет так, как растет и зреет Земля и все живое на ней. Благодаря солнцу Земля зреет, становится плодотворной: солнечное семя прорастает в ее лоне, воспламеняясь и обретая форму. Современный человек пользуется Землей чисто механически, ущербляя тем самым в себе силу солнца. Он живет ускорением, препятствующим его росту. Он предвкушает исполнение своих желаний и не достигает зрелости. Хоть он и обладает новой силой, он все же беден солнцем. Даже с этой силой, с этим орудием он органически не срастается. Бывают секунды, когда водитель автомашины чувствует себя освобожденным от нее. Это упоение еще сладостнее: машина, одержимая дьяволом, мчится по краю пропасти. Еще секунда – и катастрофа неизбежна. И вот человек на мгновение прикасается к машине, и в

следующий миг опасности как не бывало. Это подлинное волшебство. Но примечательно здесь и то, что водитель и машина автономны по отношению друг к другу. Наезднику на лошади неведомо подобное чувство. Техник не может принять сердечного участия в своем орудии. Летчик или шофер безучастны по отношению к машине. Все эти порождения техники представляются некими сомнамбулическими существами с безжизненным взглядом. И вот что странно: те, кто пытается повернуть время вспять, как это делают, например, китайские и индийские мудрецы, а также всякого рода аскеты, которые по-своему тоже находятся вне роста и созревания, также напоминают забальзамированных сомнамбул. Различие едва ли достойно внимания.

Таким представляется современный человек – исполненным силы и в то же время бедным солнцем. В ускорении предвкушает он исполнение своих желаний, но предвкушение это опережает процесс земного созревания.

Подобного рода восприятие нашло свой яркий, заветный образ в феномене Греты Гарбо, но не в реальной шведке, а в кинематографическом образе, гораздо более реальном, чем она сама. Прекрасна ли Грета Гарбо? Излишний вопрос! Конечно, существуют и более прекрасные женщины, но они не обладают ее непостижимой притягательной силой. У нее стройное тело, но оно недостаточно пластично. Она довольно неловко передвигается на своих длинных ногах, и манеры ее порой неуклюжи. Если обратить внимание на ее плечи, то они даже могут показаться грубоватыми. Платье не подчеркивает стройность ее тела. Великосветская женщина могла бы упрекнуть ее в недостатке вкуса. И все же: обаяние ее несравненно. Лоб, сильно выпуклый в профиль, по-детски упрямый, мягко закругленный анфас, излучают свет и ум. Длинные изогнутые брови обрамляют лик, благородный, возвышенный. Матовые веки, словно отполированные ракуш-



ки, лежат чувственно-тяжело и мужественно, как бы упиваясь собой. Большие светлые глаза, выражающие одновременно робость, и меланхолию, глядят из страшной глубины. Может быть, это темно-сине-зеленые кристаллы из солнечного света? Нет! Они не поддаются описанию, эти глаза, ибо глядят они на нас из какого-то неведомого нам мира.

Вообразим, что после долгого одиночества мы возвращаемся к людям и впервые видим глаза человека. Они, наверняка, окажут на нас странное, даже отпугивающее и вместе с тем блаженно-счастливое действие. При обмене взглядами эти глаза впервые откроют нашему «я» суть божественного «ты». Вот такое воздействие оказывают на нас глаза Греты Гарбо. Ее эффект совершенно в духе портретов Леонардо. Благородно и тонко очерченный рот производит впечатление затаенного дыхания в чувственно-целомудренном упоении. Выражение глаз и рта не всегда совпадают: губы нередко выражают чувственно-просветленный дух, в то время как взгляд полон тоски и печали. Даже сами уста, кажется, выражают порой разные чувства: так, если правый угол рта как будто вкушает сладость, то левому, кажется, досталась горечь. И все же весь ее облик дышит огромной жизненной силой, строго замкнутой в себе. Казалось бы какой-то редкостный огонь горит внутри нее. Он, по Гераклиту, «не влажен», он сух, ибо отгорел. Это нордический огонь, но без плодотворной силы Уты. Глядя на Грету Гарбо, испытываешь такое ощущение, будто тончайшая материя из света обрела в ней плоть – не наоборот. В глазах ее сияет северный огонь, не земной, но, возможно, и не небесный. Интересно сравнить Грету Гарбо с ее великой соперницей по фильмам Марлен Дитрих. Если в Марлен эротическая волна чисто земного свойства, то в Грете она эфирного происхождения, то есть иными словами, она почти не обладает субстанцией. У первой – пульсирующий звериный флюид, у второй – холодный блеск металла.

Кто она? Не вакханка ли, пылко отдающаяся избраннику, но затем в порыве неутолимой похоти, в безумии рвущая его на куски? Нет. Иль, может быть, амазонка, воспринимающая возникшее между нею и мужчиной напряжение как некий вызов, и готовая в неистовстве любой ценой одолеть возлюбленного? Тоже нет. Тогда, возможно, она менада, которая затаив дыхание, ждет приближения Диониса, чтобы затем в крике освободиться от цепящего ее опьянения, и, отчаявшись, броситься с широко раскрытыми от страха глазами навстречу богу вина? Едва ли и это. Или же это – Мадонна, в лоне которой в светлом блаженстве созрело божественное семя? Сомнительно и это, ибо она вообще никакая не мать. Так кто же она тогда? Просто звезда-вамп из Голливуда? Это было бы слишком просто для нее. Разве она вообще женщина? Порой смотришь на нее, и она кажется юношей. А в мужском костюме, это сходство с юношей прямо-таки бросается в глаза. И все-таки она – женщина, и чарует нас чисто по-женски. Она – не вакханка, не амазонка, не менада, не Мадонна, не мать и не куртизанка, она – все это в совокупности, но лишь как возможность, как абстракция, как некое подобие музыкальной волны, беспредметной и все же вполне конкретной. При этом имеет значение не то, что она выражает, а выражение само по себе. Ею восхищаешься даже, когда она играет в каком-нибудь пошленьком фильме. Здесь пошлость – лишь предмет, дающий ей повод для самовыражения. Ласкает ли она, гневается ли, горячится ли или впадает в меланхолию – она всегда и во всем лишь чистое выражение, лишь экспрессия. То, что выражает эта экспрессия, по ту сторону самой экспрессии уже не существует. Однако она неизменно всеохватна. Как дыхание космоса. Сущность ее природы – чистая возможность, создающая совершенную экспрессию. Благодаря этому, однако, возможность настолько возрастает, что уже кажется реализованной. Грета Гарбо никогда не бывает доступной. И все же

она в каком-то смысле всегда рядом. Она – не земное, и, может быть, и не небесное создание, тем не менее чувственность ее благодаря этому никоим образом не ущерблена, не ослаблена, а, наоборот, необычайно повышена, утончена.

Играя очередную роль, она вживается в образ, будь то историческая или вымышленная личность. Но она создает не образ самой героини, а свой собственный в ней. Она, в сущности, даже не актриса: заданная роль для нее лишь материал, с помощью которого она формирует саму себя. Она вообще не играет, а лишь выражает себя. Она – ни Анна Каренина, ни королева Кристина, ни Мата Хари, ни какая-нибудь другая героиня. Но в любом случае она остается Гретой Гарбо и каждый раз - новой. Она – не художник, создающий образы, а творец, творящий себя самого. В этом своем свойстве она вполне кинематографична и остается непревзойденной киноактрисой. Кинематограф открыл ее. Она же в свою очередь, как никто до нее, способствовала развитию киноискусства как такового.

Иногда кажется, что она соткана из лучей света – стройная и величественная. Из-под полуопущенных ресниц глядит она на мужчину, и глаза ее излучают необычный свет, они чаруют и обескураживают. Мужчина, любующийся ими, сразу же подпадает под их парализующее действие. Тело ее упруго, высокие бедра постоянно покачиваются. Она улыбается в ожидании. Короткий разговор. Она угадывает любой вопрос, но ничем не выдает себя. Она делает намеки, двусмысленность которых ведома лишь ей самой. Она снова улыбается мужчине, и улыбка эта выдает ее превосходство над ним. Ее остроумие тогда трогательно, и задор полон очарования. Едва заметный наклон головы, исполненный грации, и вдруг улыбка сбегает с ее лица. Она вся дрожит, будто в венах ее - огонь вместо крови. Мужчина в смущении стоит перед ней. Воздух вокруг нее сгущается, тяжелеет. Дыхание учащается, похоть стреми-

тельно выходит на авансцену. Теперь она – лишь кровожадный рот, готовый сорвать жизнь, словно спелый плод, подстегиваемая кем-то, она приближается к мужчине и что-то шепчет ему своим низким голосом. Не пробуждает ли этот голос, голос Греты Гарбо, силы, дремлющие в человеке, или он укрощает его дикие страсти? Она целует мужчину, он обнимает ее. Теперь она вся – зачатие. Она замирает, затем вдруг отрывается от мужчины, и тут же аура ее меняется. Выражение глаз ее теперь еще страшнее: они ничего и никого не видят. На опьяненных устах застыла невыразимая печаль. Она глядит вдаль так, словно у нее рана в душе. Вся ее жизнь, кажется, сосредоточилась теперь в висках. Не чувствует ли в этот момент Грета, что она в состоянии выразить лишь возможность, которая никогда уже не будет осуществлена? А может быть она заведомо знает, что любое осуществление, любое исполнение в юдоли земной обречено на неудачу? От нее веет пронзительной тоской. Но в тоске своей Грета хранит свет. Теперь она – уже не просто образ, не просто героиня художественного произведения, она – почти мифическая реальность, продолжающая жить и творить.

В каждом существе есть нечто, не поддающееся разрушению. Это – его внутренний образ. Если само существо растворяется в предметах, то образ отступает к первоначалу. Если же он обретает материальное воплощение, то, как двойник, несет в себе существо на вечные времена. Это было известно древним египтянам. «Хиле» Демокрита, как и «эйдолон» Пиндара и есть образ в египетском понимании. Образ обладает своей собственной реальностью. Он не плод вымысла художника, а объект его видения. Джоконда – это женское существо, которое похищают из Лувра одержимые ею, а в голову Нефертити влюбляются по-настоящему. Кинематограф высветил реальность образов, доведя ее до фантастической степени. Образы эти обрели динамизм, они

наполовину осязаемы, и даже говорят.

Среди них образ Греты Гарбо обладает самой проникающей реальностью. Эта изумительная кинозвезда и в самом деле живет. Она путешествует и появляется повсюду: в Чикаго и Нью-Йорке, в Париже и Берлине, в Риме и Лондоне, в Будапеште и Варшаве, на Западе и на Востоке, в Тегеране и Стамбуле, в Калькутте и Бомбее, может быть и в Ираке и в Афганистане. Она появляется всюду, но не просто так, как другие кинозвезды. Она приносит с собой то, чего недостает всем: новый вид чувственного упоения. Миллионы глаз зачарованно ловят каждое ее движение, и движения эти, как волны, исходящие от нее. У этой кинозвезды своя собственная биография, и она имеет продолжение. У нее своя судьба, оказывающая на судьбы многих и многих решающее влияние. Ее боготворят, ею грезят, по ней тоскуют – речь, конечно, опять-таки не о реальной Грете Гарбо. Тысячи и тысячи носят с собой ее снимки, и в тысячах сердец запечатлен ее живой образ. Она недоступна и все же всегда рядом: как новоявленный дух инкубон в магическом сиянии. Ею одержимы, как бывают одержимы лунным притяжением. Появившись в новом мире как греза, как заветный образ, она оказывает на этот мир обратное воздействие. Она создает желанную атмосферу, в которой возможность исполнения желания, сопровождаемая изобилием предвкушений наитончайшего свойства, воспринимается как нечто весьма близкое к осуществлению.

На наших глазах появляется новая женская раса: «гарбоиды», если их, конечно, можно так назвать. Взгляните на этих женщин – это машинистки, манекенщицы, актрисы, спортсменки, светские и полусветские дамы. Обратите на них внимание в кинозалах, в театрах, в салонах мод и универмагах, на выставках, на скачках и в автомобильных гонках! Взгляните на фотоснимки в иллюстрированных, театральных и



спортивных журналах, в киножурналах и журналах мод! Эти женщины с одним и тем же чарующим сомнамбулическим взглядом, устремленным вдаль и с не менее чарующей спокойной безучастностью в манерах. Тип этой новой расы отразился даже на манекенах: все в нем дьявольски очаровательно, особенно эта милая анемичность, таящая в себе непредсказуемые капризы электрической волны.

Если современный мужчина беден солнечным элементом, то современная женщина оказывается слабой как земное существо. Однако и мужчина, и женщина обладают страшной силой, которую в планетарном отношении пока трудно определить. Может быть, мы стоим перед новой космической эволюцией Земли? Ведь составляла же некогда Земля в доисторические времена единое целое с Луной! Ведь существовали тогда человекоподобные существа, обладавшие каким-то особым видом чувствования и мышления! Не являемся ли мы свидетелями незаметной эволюции Земли, происходящей под воздействием техники? Может быть, это путь к Тегга Lucida манихейцев, путь, возможно, бессмысленный, но все же путь? Нет сомнения в том, что здесь начинается новый Апокалипсис.

Земля, однако, в ее теперешнем состоянии не собирается сдавать свои позиции. Новый век – технический – олицетворен больше в мужчине, нежели в женщине, и, хотя и появилась новая раса женского типа, подавляющее большинство женщин все же еще крепко привязано к Земле. В Германии, где Землю стремятся сохранить, исходя из мифологического к ней отношения, молодые девушки выглядят иначе. Возможно, некоторые из них и украшают свои комнаты снимками Греты Гарбо, но они ни в коей мере не являются «гарбоидами». Погруженные в себя, зрея в глубине, они убеждают нас в том, что и сегодня не перевелись дочери Великой Матери.

Однако именно «земные» женщины больше страдают от перемен, происходящих сегодня на Земле. Представим себе, что «земная» женщина «находит» себе новый тип мужчины. Она живет спонтанно, элементарно, как материнское лоно, как Земля и отдается возлюбленному. Может ли в свою очередь современный мужчина пожертвовать собой ради женщины? Он не смог бы этого сделать, если бы даже очень захотел. Мужчина в состоянии отдаваться лишь частично. Женщина дышит и растет, исполненная тоски по созреванию. А как обстоит дело с мужчиной? Росток солнца в его мужских корнях зачах. Из-за этого и женщина как бы расколота на части, - а что может представлять собой женщина, утратившая целостность своей клеточной системы? Это несуразное, уродливое создание, уродующее других. Такая женщина может быть одновременно и нежной, и жестокой, и искренней, и фальшивой. Если в какой-то части ее существа и сохранилось еще что-то от ее женского естества, то об остальном этого не скажешь. Она может принадлежать одному мужчине телом, другому – душой, но обоих она во всех случаях губит. У мужчины, которого она любит «душой», она вызывает целую бурю чувств, но не отвечает взаимностью. Мужчина же, которого она одаряет своим телом, испытывает страшную душевную жажду, которую она не в состоянии утолить. Итак, истерия? Да. Но кто ее вызвал? Не является ли женская истерия (а точнее – мужская) расплатой за солнечную слабость мужчины? В этом трагедия современности со всеми роковыми последствиями. Настала необходимость появления женщины поэтического склада, чья сострадательная и всеведущая душа избавила бы современную женщину от многих страданий. Это великая миссия.

А как обстоит дело с Гретой Гарбо? Не с ее кинообразом, не с «эфирной оболочкой» и не с «эйдолоном света», а с ней самой? Это каверзный вопрос. Разве художественный образ



не высосал из нее всю ее сущность? Разве он, этот образ, не подверг ее судьбу страшным испытаниям? Она отдается своему образу вся, без остатка, а что он дает ей взамен? Миллионы волн, несущих мечты и грезы, со всех концов света устремляются к ней, к своему заветному образу, к своей заветной мечте. Хорошо еще, что волны эти необычайно многообразны и невольно нейтрализуют друг друга: иначе не выдержать бы ей, приемнику этих волн, грозного их напора. Возможно, она инстинктивно чувствует грозящую ей опасность и делает все для того, чтобы избежать ее, живя (и это первая женщина мира!) уединенно, чуть ли не взаперти, прячась ото всех. Она избегает фоторепортеров, журналистов, интервьюеров и крайне редко и неохотно показывается на людях. Может и есть во всем этом доля рекламы, и даже немного позы, но все же главная причина уединенного образа жизни Греты в другом. Она вживается в свой кинематографический образ и, как человек, совершенно обнажает себя. Она чувствует себя лишенной оболочки, всей душой стремится снова обрести, вернуть ее. В страхе прячется под свой панцирь. Счастлива ли она? Дерзкий вопрос. Как заветный образ, как символ нашего времени, она превращается в его жертву. В качестве жертвы она, по-видимому, в какие-то мгновения и бывает счастлива. Но то, что мы называем «счастьем», для нее, вероятно, недостижимо.

Легко себе представить, как однажды побуждаемая судьбой, она решит посмотреть фильм, в котором играет главную роль. И тогда на ее чудесные ресницы лягут две большие тяжелые слезы – две жемчужины, печальнее и прекраснее которых не найти в этом мире.

Содержание	стр.
Предисловие автора	3
Сталин как дух Аримана	6
Голова Нефертити	35
Первородный страх и миф	45
Чувство жизни на Востоке и Западе	58
Грета Гарбо – заветный образ наших дней	73

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ



ДЕМОНИ И МИФ

Издание книги согласовано с Фондом им.
Григола Робакидзе

Книга издается за счет средств переводчика

Тираж 300 экз.

Редактор Лиана Татишвили

Тех. редактор Заза Микадзе

Художник Василий Ломидзе

T	798	1913534
	3	2122:1110135